

III. Дисциплина

- Глава 1. Послушные тела
- Глава 2. Средства выверенной муштры
- Глава 3. Паноптизм

Глава 1. Послушные тела

Представим себе идеальный образ солдата, каким он виделся еще в начале XVII века. Прежде всего, солдата можно узнать издали. У него есть «знаки отличия»: природные знаки силы и мужества, они же предмет его гордости. Его тело – символ его силы и храбрости. И хотя он должен овладевать военным мастерством постепенно – главным образом в сражениях, – движения (походный шаг) и выправка (прямая посадка головы) принадлежат большей частью к телесной риторике чести: «Наиболее годных к этому ремеслу можно узнать по многим признакам: это люди бодрые и живые, с высоко поднятой головой, втянутым животом, широкоплечие, длиннорукие, с сильными пальцами, не толстые, с подтянутыми бедрами, стройными ногами и непотеющими ступнями, – человек такого телосложения не может не быть ловким и сильным». Став копейщиком, солдат «должен маршировать размеренно и ритмично, дабы достичь наибольшей грации и степенности, ибо копье – почетное оружие, кое положено нести торжественно и отважно»[259]. Вторая половина XVIII века: солдат стал чем-то, что можно изготовить. Из бесформенной массы, непригодной плоти можно сделать требуемую машину. Постепенно выправляется осанка. Рассчитанное принуждение медленно проникает в каждую часть тела, овладевает им, делает его послушным, всегда готовым и молчаливо продолжается в автоматизме привычки. Короче говоря, надлежит «изгнать крестьянина», придать ему «облик солдата»[260]. Рекрутов приучают «нести голову высоко, держаться прямо, не сгибая спины, втягивать живот, выставлять грудь и расправлять плечи. А чтобы это вошло в привычку, их заставляют принять требуемое положение, прижавшись спиной к стене, чтобы пятки, икры, плечи и талия касались ее, также и тыльные части рук, причем руки должны быть развернуты наружу и прижаты к телу... Их учат также никогда не уставляться в землю, смотреть прямо в лицо тем, мимо кого они проходят... стоять неподвижно в ожидании команды, не шевеля ни головой, ни руками, ни ногами... наконец, ходить чеканным шагом, напрягая колено и икру, вытягивая носок и отводя его в сторону»[261].

В классический век произошло открытие тела как объекта и мишени власти. Не составляет труда найти признаки пристального внимания к телу – телу, которое подвергается манипуляциям, формированию, муштре, которое повинует, реагирует, становится ловким и набирает силу. Великая книга о Человеке-машине создавалась одновременно в двух регистрах: анатомо-метафизическом – первые страницы были написаны Декартом, последующие медиками и философами; и технико-политическом, образованном совокупностью военных, школьных и больничных уставов, а также эмпирических и рассчитанных процедур контроля над действиями тела или их исправления. Это совершенно разные регистры, поскольку речь в них идет, с одной стороны, о подчинении и использовании, с другой – о функционировании и объяснении: теле полезном и теле понимаемом. И все-таки у них есть точки пересечения. «Человек-машина» Ламетри – одновременно материалистическая редукция души и общая теория муштры, где в центре правит понятие «послушности», добавляющее к телу анализируемому тело манипулируемое. Послушное тело можно подчинить, использовать, преобразовать и

усовершенствовать. Знаменитые автоматы, с другой стороны, являлись не только способом иллюстрации функционирования организма; они были также политическими куклами, уменьшенными моделями власти: навязчивая идея Фридриха II, мелочно-дотошного короля маленьких машин, вымуштрованных полков и долгих упражнений.

Что же нового в схемах послушания, которыми так интересовалось XVIII столетие? Безусловно, тело не впервые становилось объектом столь жестких и назойливых посягательств. В любом обществе тело зажато в тисках власти, налагающей на него принуждение, запреты или обязательства. Тем не менее в упомянутых техниках есть и новое. Прежде всего, масштаб контроля: не рассматривать тело в массе, в общих чертах, как если бы оно было неразделимой единицей, а прорабатывать его в деталях, подвергать его тонкому принуждению, обеспечивать его захват на уровне самой механики – движений, жестов, положений, быстроты: бесконечно малая власть над активным телом. Далее, объект контроля: это уже не значащие элементы поведения или языка тела, а экономия, эффективность движений, их внутренняя организация; принуждение нацелено скорее на силы, чем на знаки; единственная по-настоящему важная церемония – упражнение. Наконец, модальность: она подразумевает непрерывное, постоянное принуждение, озабоченное скорее процессами деятельности, чем ее результатом, и осуществляется согласно классификации, практически разбивающей на клеточки время, пространство и движения. Методы, которые делают возможным детальнейший контроль над действиями тела, обеспечивают постоянное подчинение его сил и навязывают им отношения послушания – полезности, можно назвать «дисциплинами». Издавна существовали многочисленные дисциплинарные методы – в монастырях, армиях и ремесленных цехах. Но в XVII–XVIII веках дисциплины стали общими формулами господства. Они отличаются от рабства тем, что не основываются на отношении присвоения тел, и даже обладают некоторым изяществом, поскольку могут достичь по меньшей мере равной полезности, не затрудняя себя упомянутым дорогостоящим и насильственным отношением. Они отличаются также от «услужения» домашней челяди – постоянного, глобального, массового, неаналитического, неограниченного отношения господства, устанавливаемого в форме единоличной воли хозяина, его «каприза». Они отличаются от вассалитета – в высшей степени кодифицированного, но далекого отношения подчинения, основывающегося не столько на действиях тела, сколько на продуктах труда и ритуальном выражении верноподданнических чувств. Они отличаются и от аскетизма и «дисциплины» монастырского типа, функция которых – скорее достижение отрешенности, чем увеличение полезности, и которые, хотя и подразумевают повиновение, нацелены, главным образом на более полное владение каждым индивидом собственным телом. Исторический момент дисциплин – момент, когда рождается искусство владения человеческим телом, направленное не только на увеличение его ловкости и сноровки, не только на усиление его подчинения, но и на формирование отношения, которое в самом механизме делает тело тем более послушным, чем более полезным оно становится, и наоборот. Тогда формируется политика принуждений – работы над телом, рассчитанного манипулирования его элементами, жестами, поступками. Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново. Рождается «политическая анатомия», являющаяся одновременно «механикой власти». Она определяет, как можно подчинить себе тела других, с тем чтобы заставить их не только делать что-то определенное, но действовать определенным образом, с применением

определенных техник, с необходимой быстротой и эффективностью. Так дисциплина производит подчиненные и упражняемые тела, «послушные» тела. Дисциплина увеличивает силы тела (с точки зрения экономической полезности) и уменьшает те же силы (с точки зрения политического послушания). Короче говоря, она отделяет силы от тела: с одной стороны, превращает его в «способность», «пригодность», которые стремится увеличить, а с другой – меняет направление энергии, могущества, которое может быть ее результатом, и превращает его в отношение неукоснительного подчинения. Если экономическая эксплуатация разделяет силу и продукт труда, то дисциплинарное принуждение, можно сказать, устанавливает в теле принудительную связь между увеличивающейся пригодностью и возрастающим господством.

«Изобретение» этой новой политической анатомии не следует понимать как внезапное открытие. Скорее, происходит множество часто второстепенных процессов, различного происхождения и спорадической локализации, которые пересекаются, повторяются или имитируют друг друга, поддерживают друг друга, различаются в зависимости от области применения, сходятся и понемногу вырисовывают контур общего метода. Уже очень давно они начали действовать в коллежах, позднее – в начальных школах, постепенно они захватывают больничное пространство и за несколько десятилетий перестраивают военную организацию. Иногда они циркулируют от одной точки к другой (между армией и техническими училищами или коллежами и лицеями) очень быстро, иногда медленно и более скрыто (коварная милитаризация крупных фабрик). Почти всякий раз они навязываются в ответ на требования обстоятельств, будь то промышленное новшество, обострение эпидемии, изобретение ружья или победа Пруссии. Однако это не мешает им вписаться в общие и существенные преобразования, которые мы сейчас попытаемся выявить.

Не идет и речи о создании истории дисциплинарных институтов со всеми их индивидуальными различиями. Просто определим с помощью ряда примеров некоторые существенно важные методы, которые, переходя от института к институту, чрезвычайно легко стали общепринятыми. Всегда незаметные, часто ничтожные, они все же имеют некоторое значение, поскольку определяют способ детального политического завоевания тела, новую «микрофизику» власти, и поскольку начиная с XVII века постоянно охватывают все более широкие области, словно стремясь завладеть всем общественным телом. Маленькие хитрости, обладающие большой способностью к распространению, тонкие устройства, внешне невинные, но глубоко подозрительные, механизмы, которые подчинены потаенным и постыдным экономиям и которые внедрили всепроникающее подчинение, – однако именно они довели изменение режима наказаний до порога современной эпохи. Описывать их – значит вникать в детали и обращать внимание на мелочи: за мельчайшей фигурой искать не смысл, а меру предосторожности; рассматривать их не только в единстве функционирования, но и в последовательности тактики. Это хитрости не столько великого разума, который работает, даже когда спит, который придает смысл незначущему, – сколько внимательного «недоброжелательства», из всего извлекающего выгоду. Дисциплина – политическая анатомия детали.

Опережая нетерпение, вспомним слова маршала де Сакса[262]: «Хотя те, кто вдаются в детали, слынут людьми ограниченными, мне кажется, что деталь – главное, ведь она

образует фундамент, и невозможно возвести здание или выработать метод, не зная их оснований. Недостаточно любить архитектуру. Надо уметь обтесывать камни»[263]. Можно написать целую историю такого «обтесывания камней» – историю утилитарной рационализации детали в моральном учете и политическом контроле. Она началась ранее классического века, но он ускорил ее, изменил ее масштаб, дал ей точные инструменты и, вероятно, некоторым образом откликнулся на нее исчислением бесконечно малых или описанием мельчайших свойств природных существ. Во всяком случае, «малое» издавна было категорией теологии и аскетизма: всякая малая вещь важна, поскольку в глазах Господа нет огромности больше малого и нет малого помимо Его воли. В этой великой традиции почитания малого легко находит свое место вся детализированность христианского воспитания, школьной или военной педагогики – в конечном счете, все формы муштры. Для дисциплинированного человека, как и для истинно верующего, никакая мелочь не безразлична – не столько из-за заключенного в ней смысла, сколько как ушко для власти, которая стремится за него ухватиться. Характерна великая хвала «малому» в его вечной значимости, воспетая Жан-Батистом де Ла Саллем[264] в «Трактате об обязательствах братьев христианских школ». Мистика повседневного сочетается здесь с дисциплиной малого. «Как опасно пренебрегать малым. Для души, вроде моей, едва ли способной к великим деяниям, сколь утешительна мысль, что верность малому, незаметно развиваясь, может вознести нас до вершин святости: ведь малые вещи располагают к великим... Малое; да и то сказать, увы, Господи, можем ли мы сделать великое для Тебя, мы, слабые и смертные твари. Малое; но если нам предстанет великое, не дрогнем ли мы? Не решим ли, что сие выше сил наших? Малое; а ежели Бог возлюбит его и пожелает принять как великое? Малое; а знаем ли мы, что оно есть? Судим ли по опыту? Малое; значит, мы виновны, считая его малым и потому отвергая? Малое; но оно-то и создало в конце концов великих святых! Да, малое; но великие помыслы, великие чувства, великое рвение, великий пыл, а значит, великие заслуги, великие сокровища, великое воздаяние»[265].

Детализированность правил, придирчивость инспекций, надзор над мельчайшими фрагментами жизни и тела вскоре породят в рамках школы, казармы, больницы или фабрики секуляризованное содержание, экономическую или техническую рациональность для этого мистического исчисления бесконечно малого и бесконечного. И История Детали в XVIII столетии, удостоверенная именем Жан-Батиста де Ла Салля, коснувшись Лейбница и Бюффона, пройдя через Фридриха II, охватив педагогику, медицину, военную тактику и экономику, должна была привести нас в конце столетия к человеку, который мечтал стать новым Ньютоном, но не Ньютоном неизмеримости небес или планетарных масс, а Ньютоном «малых тел», малых движений, малых деяний, – к человеку, который ответил Монжу[266] на его «можно открыть лишь один мир»: «Что я слышу? А что же мир деталей, вы, никогда не мечтавшие об этом другом мире, как быть с ним? Я верил в него с пятнадцати лет. Я интересовался им тогда, и воспоминание живет во мне как навязчивая идея, никогда меня не покидающая... Этот другой мир самый важный из всех, которые – льщу себя надеждой – я открыл: при одной мысли о нем болит душа»[267]. Бонапарт не открыл этот мир; но известно, что он пытался организовать его, и он хотел создать вокруг себя механизм власти, который позволил бы ему улавливать мельчайшее событие в государстве. Он намеревался посредством установленной им строгой дисциплины «объять всю огромную машину, так чтобы ни малейшая деталь не ускользнула от его внимания»[268].

Въедливое изучение детали и одновременно политический учет мелочей, служащих для контроля над людьми и их использования, проходят через весь классический век, несут с собой целую совокупность техник, целый корпус методов и знания, описаний, рецептов и данных. И из этих пустяков, несомненно, родился человек современного гуманизма[269].

Искусство распределений Прежде всего, дисциплина связана с распределением индивидов в пространстве. Для этого она использует несколько методов.

1

Дисциплина иногда требует отгораживания, спецификации места, отличного от всех других и замкнутого в самом себе. Отгороженного места дисциплинарной монотонности. Было великое «заклечение» бродяг и нищих, были и другие, менее заметные, но коварные и действенные. Это коллежи: в них постепенно воцаряется монастырская модель; интернат олицетворяет собой если не самый распространенный, то по крайней мере самый совершенный воспитательный режим; он становится обязательным в коллеже Людовика Великого, когда после ухода иезуитов его превратили в образцовую школу[270]. Это казармы: нужно расположить в определенном месте армию, эту блуждающую массу; предотвратить мародерство и насилие; успокоить местных жителей, плохо переносящих проход войск через город; избежать конфликтов с гражданскими властями; прекратить дезертирство; установить контроль над расходами. Указ 1719 г. предписывает строительство нескольких сотен казарм по примеру тех, что уже возведены на юге страны; предусматривается надежное ограждение: «Все должно быть огорожено, опоясано внешней стеной высотой десять футов, которую надлежит возвести на расстоянии тридцать футов от всех корпусов». Это поможет поддерживать в войсках «порядок и дисциплину, так чтобы офицер мог за них отвечать»[271]. В 1745 г. казармы имелись примерно в 320 городах, и в 1775 г. их общая вместимость составляла почти 200 000 человек[272]. Наряду с распространением цехов развиваются и огромные производственные пространства, однородные и четко ограниченные: вначале объединенные мануфактуры, а затем, во второй половине XVIII века, заводы (Шоссадский металлургический завод занимает весь Мединский полуостров между Ньевром и Луарой; для размещения завода в Индрэ в 1777 г. Уилкинсон построил с помощью насыпей и дамб остров на Луаре[273]; на месте бывших угольных копей Туфэ построил Ле Крезю[274] и оборудовал на самом заводе жилые помещения для рабочих). Это означало изменение масштаба, – но и новый тип контроля. Завод явственно уподобили монастырю, крепости, закрытому городу: сторож «отворяет ворота только с приходом рабочих и по звону колокола, возвещающему возобновление работы». Через четверть часа никого уже не пропустят. По окончании рабочего дня начальники цехов обязаны сдать ключи привратнику мануфактуры, который после этого вновь отворяет ворота[275]. По мере все большей концентрации производительных сил надо извлекать из них максимальную выгоду и нейтрализовать недостатки (кражи, перерывы в работе и отказы от нее, волнения и «крамолу»): охранять материалы и инструменты, обуздывать рабочую силу. «Необходимы порядок и дисциплина требуют, чтобы все рабочие были собраны под одной крышей. Тогда тот из компаньонов, на кого возложена ответственность за управление мануфактурой, сможет предупреждать и устранять злоупотребления, которые могут возникнуть среди рабочих, и пресекать их в корне»[276].

Но принцип «отгораживания» не является ни постоянным, ни необходимым, ни достаточным в дисциплинарных механизмах. Они прорабатывают пространство много более гибким и тонким образом. Прежде всего, по принципу элементарной локализации или расчерчивания и распределения по клеткам. Каждому индивиду отводится свое место, каждому месту – свой индивид. Избегать распределения по группам, не допускать укоренения коллективных образований, раздроблять смутные, массовые или ускользающие множества.

Дисциплинарное пространство имеет тенденцию делиться на столько клеточек, сколько есть тел или элементов, подлежащих распределению. Необходимо аннулировать следствия нечетких распределений, бесконтрольное исчезновение индивидов, их диффузную циркуляцию, их бесполезное и опасное сгущение. Тактика борьбы с дезертирством, бродяжничеством, скоплениями людей. Требуется вести учет наличия и отсутствия, знать, где и как найти того или иного индивида, устанавливать полезные связи, разрывать все другие, иметь возможность ежеминутного надзора за поведением каждого, быть в состоянии оценивать его, подвергать наказанию, измерять его качества и заслуги. Словом, имеется в виду методика, нацеленная на познание, завладение и использование.

Дисциплина организует аналитическое пространство.

И здесь тоже используется старый архитектурный и религиозный образец: монашеская келья. Даже если отделения, отводимые дисциплиной, становятся чисто идеальными, дисциплинарное пространство по сути своей всегда является пространством кельи. Необходимое одиночество и тела и души выражает определенный аскетизм: они должны, по крайней мере время от времени, в одиночестве преодолевать соблазны и, быть может, ощутить строгость Божьей кары. «Сон – образ смерти, дортуар – образ склепа... хотя дортуары общие, кровати расставлены таким образом и столь искусно закрываются занавесками, что девицы могут вставать и ложиться, не видя друг друга»[277]. Но это еще очень неразвитая форма.

Правило функциональных размещений мало-помалу посредством дисциплинарных институтов кодирует пространство, которое архитектура обычно оставляет свободным, предусматривая его разнообразное использование. Отводятся определенные места, что должно не только отвечать необходимости надзора и разрыва опасных связей, но и создавать полезное пространство. Этот процесс ясно просматривается в организации пространств больниц, особенно военных и флотских госпиталей. Во Франции экспериментальной площадкой и моделью послужил, видимо, госпиталь в Рошфоре[278]. Порт, к тому же военный порт, – с обращением товаров, с людьми, завербованными добровольно или насильно, приплывающими и отплывающими моряками, болезнями и эпидемиями – место дезертирства, контрабанды, распространения заразы: перекресток опасных смешений, место пересечения запрещенных циркуляций. Следовательно, флотский госпиталь должен лечить, но для этого – быть фильтром, устройством, которое улавливает и распределяет по клеточкам. Он должен удерживать под контролем все это движение и кишение, разрубая клубок противозаконностей и зла. Медицинское наблюдение над больными и борьба с заражением неразрывно связаны с иными видами контроля: военного

контроля над дезертирами, налогового – над товарами, административного – над лекарствами, нормами довольствия и пайками, исчезновениями, излечениями, смертями, симуляцией. Отсюда потребность в строгом распределении и разбиении пространства. Первые меры, принятые в Рошфоре, относятся скорее к вещам, нежели к людям, скорее к ценным товарам, нежели к больным. Меры налогового и экономического надзора предшествуют методам медицинского наблюдения: хранение лекарств в запертых сундуках, ведение реестров их расходования. Несколько позже налаживается система проверки реального числа больных, их личности и принадлежности к подразделениям. Затем начинается регламентирование их передвижения – их заставляют оставаться в палатах, к каждой койке привязывают табличку с фамилией больного, каждый больной заносится в реестр, врач сверяется с ним во время обхода. Позднее приходят изоляция заразных больных и отдельные койки для них. Понемногу административное и политическое пространство соединяется с пространством терапевтическим. Оно имеет тенденцию к индивидуализации тел, болезней, симптомов, жизней и смертей; оно образует реальную картину налагающихся друг на друга и тщательно различаемых особенностей. Из дисциплины рождается терапевтически полезное пространство.

На заводах, возникших в конце XVIII века, принцип индивидуализирующего распределения усложняется. Речь идет о распределении индивидов в пространстве, в котором их можно изолировать и отыскать, но также о связи этого распределения с производственным механизмом, диктующим собственные требования. Распределение тел, пространственное устройство производственного механизма и различные виды деятельности должны быть увязаны вместе в распределении «должностей». Согласно этому принципу организована мануфактура Оберкампа в Жуи[279]. Она состоит из ряда цехов, специализированных в соответствии с типами основных операций: цехов раклистов, проборщиков, колористов, щипальщиц, гравировщиков, красильщиков. Самое большое здание, построенное в 1791 г. Туссэном Баррэ, – четырехэтажное длиной сто десять метров. Первый этаж занят в основном цехом валковой набивки. Здесь 132 стола, поставленных в два ряда в 88-оконном помещении. Каждый раклист работает за столом вместе с «подборщиком», приготавливающим и накладывающим краски. Всего здесь 264 человека. Рядом с каждым столом стоит своего рода рама для просушки только что изготовленной ткани[280]. Прохаживаясь по центральному проходу в цехе, можно осуществлять надзор одновременно и общий, и индивидуальный: отмечать присутствие рабочего, его прилежание, качество работы; сравнивать рабочих друг с другом, классифицировать их сообразно с их ловкостью и быстротой, следить за последовательными стадиями производства. Все эти ряды надзора образуют постоянную сетку; смешение устраняется[281]; производство подразделяется, и рабочий процесс организуется, с одной стороны, соответственно его фазам, стадиям или элементарным операциям, а с другой – соответственно выполняющим его индивидам, занятым в нем отдельным телам: каждая переменная этой силы – сила, быстрота, сноровка, постоянство – может наблюдаться, а следовательно, характеризоваться, оцениваться, учитываться и соотноситься с конкретным индивидом, который ее обнаруживает. Таким образом, совершенно четко рассредоточенная по всему ряду отдельных тел рабочая сила может быть разложена на индивидуальные единицы. При зарождении крупной промышленности под разделением процесса производства обнаруживается индивидуализирующее разложение рабочей силы; распределения дисциплинарного пространства часто обеспечивают то и другое.

В дисциплине элементы взаимозаменяемы, поскольку каждый из них определен местом, занимаемым им в ряду других, и промежутком, отделяющим его от других. Следовательно, единицей является не территория (единица господства), не место (единица расположения), а ранг[282]: место, занимаемое в классификации, место пересечения строки и столбца, интервал в ряду интервалов, которые можно просмотреть друг за другом. Дисциплина – искусство ранга и техника преобразования размещений. Она индивидуализирует тела посредством локализации, которая означает не закрепление их на определенном месте, а их распределение и циркулирование в сети отношений.

Рассмотрим, например, «учебный класс». В иезуитских коллежах еще можно найти структуру бинарной и единообразной организации. Классы, которые могут насчитывать двести – триста учеников, подразделяются на группы по десять человек. Каждая из групп во главе с декурионом размещалась в лагере римского или карфагенского типа. Каждой декурии соответствовала враждебная декурия. Общая форма – война и соперничество. Работа, учение и классификация осуществлялись в виде состязания, столкновения двух армий. Роль каждого ученика вписывалась в общую дуэль; он вносил свой вклад в победу или поражение лагеря. Каждому ученику отводилось место, соответствующее его функции и ценности как воина, в унитарной группе его декурии[283]. Надо отметить, кроме того, что эта римская комедия позволяла связать с двусторонним соперничеством пространственное расположение, вдохновленное легионом (с рангом, иерархией, пирамидальным надзором). Не следует забывать, что, вообще говоря, в эпоху Просвещения римская модель играла двойную роль: в ее республиканском аспекте она была самым воплощением свободы, в военном – идеальной схемой дисциплины. Рим XVIII столетия и Революции – Рим Сената, но также легиона, Рим Форума, но и лагерей. Вплоть до Первой Империи фигура Рима несколько двусмысленно выражала юридический идеал гражданства и технику дисциплинарных методов. Как бы то ни было, все строго дисциплинарное в античной фабуле, постоянно разыгрываемой в иезуитских коллежах, взяло верх над тем, что было в ней от схватки и изображаемой войны. Постепенно, но особенно заметно с 1762 г., школьное пространство разворачивается; класс становится однородным, он уже не состоит из индивидуальных элементов, распределенных бок о бок под контролем учителя. В XVIII веке «ранг» начинает определять основную форму распределения индивидов в школьном порядке. Ряды учеников в классах, коридорах и дворах. Ранг, присваиваемый каждому ученику в результате каждого задания или испытания. Ранг, достигаемый каждым из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Выстраивание классов друг за другом по старшинству, последовательность преподаваемых дисциплин, вопросы, рассматриваемые в порядке возрастающей сложности. И в этой совокупности обязательных выстраиваний каждый ученик в зависимости от возраста, успехов и поведения имеет то тот, то другой ранг. Он постоянно перемещается по рядам клеток: некоторые из них идеальны и выражают иерархию знаний или способностей, другие выражают распределение по ценности или заслугам материально, в пространстве коллежа или классной комнаты. Вечное движение, в котором индивиды заменяют друг друга в пространстве, разграниченном упорядоченными интервалами.

Организация пространства по рядам – одно из крупных технических изменений в начальном образовании. Оно позволило изжить традиционную систему (ученик несколько минут занимается с учителем, в то время как остальные члены беспорядочной группы пребывают в праздности и без надзора). Предусмотрев индивидуальные места, оно сделало возможным контроль за каждым и одновременную работу всех. Образовалась новая экономия времени обучения. Школьное пространство стало функционировать как механизм обучения, но также надзора, иерархизации и вознаграждения. Ж. Б. де Ла Салль мечтал о классе, где пространственное распределение предусматривало бы сразу целый ряд различий: в зависимости от успехов учеников, достоинства каждого из них, положительных или отрицательных свойств характера, большего или меньшего прилежания, чистоплотности и состояния родителей. Таким образом, класс образовал бы единую большую таблицу[284] с многочисленными графами под пристальным «классификаторским» надзором учителя: «В каждом классе будут отведены специальные места для всех школьников на всех уроках, так что все ученики, слушающие один и тот же урок, будут сидеть на своем постоянном месте. Ученики, присутствующие на самых главных уроках, будут сидеть на ближайших к стене скамьях, а остальные, соответственно порядку уроков, смещаются к середине класса... У каждого ученика будет свое постоянное место, которое нельзя ни покинуть, ни поменять, разве что по распоряжению или с согласия школьного инспектора». Все должно быть устроено так, чтобы «те, чьи родители неопрятны и вшивы, были отделены от опрятных и чистоплотных; чтобы пустой и ветреный ученик сидел между двумя прилежными и серьезными, а распутный – либо отдельно, либо между двумя набожными»[285].

Организуя «кельи», «места» и «ранги», дисциплина создает комплексные пространства: одновременно архитектурные, функциональные и иерархические. Пространства, которые обеспечивают фиксированные положения и перемещение. Они вырисовывают индивидуальные сегменты и устанавливают операционные связи. Они отводят места и определяют ценности. Они гарантируют повиновение индивидов, но также лучшую экономию времени и жестов. Смешанные пространства: реальные, поскольку они определяют расположение зданий, помещений, мебели, но также воображаемые, поскольку они проецируют на это устроение характеристики, оценки, иерархии. Первой крупной операцией дисциплины является, следовательно, образование «живых таблиц», преобразующих беспорядочные, бесполезные и опасные массы в упорядоченные множества. Создание «таблиц» – одна из огромных проблем научной, политической и экономической технологии XVIII века: устраивать ботанические и зоологические сады и одновременно создавать рациональные классификации живых существ; наблюдать, контролировать, упорядочивать обращение товаров и денег и при этом создавать экономическую таблицу, которая может служить как принцип увеличения благосостояния; надзирать за людьми, констатировать их присутствие или отсутствие и составлять общий и постоянный реестр вооруженных сил; распределять больных, отделять одних от других, тщательно подразделять больничное пространство и производить систематическую классификацию болезней – все это двойные операции, в которых неразрывно связаны друг с другом два составных элемента: распределение и анализ, контроль и понимание. В XVIII веке таблица – одновременно и техника власти, и процедура познания. Требуется и организовать множество, и обеспечить себя инструментом для его отслеживания и обуздания. Требуется навязать ему «порядок». Подобно полководцу (о котором писал Гибер), натуралист, врач, экономист «ослеплен необъятностью, ошеломлен массой объектов. Множество вещей,

какими надо заниматься одновременно, придавливают его непосильным бременем. Совершенствуясь и приближаясь к истинным принципам, современная военная наука, возможно, становится проще и легче»; армии «с простыми, единообразными тактиками, которые могут быть приспособлены к любым движениям... легче перебрасывать и вести»[286]. Тактика – пространственное упорядочение людей. Таксономия – дисциплинарное пространство природных существ. Экономическая таблица – правильное движение богатств.

Но таблица не исполняет одну и ту же функцию в этих различных регистрах. На уровне экономики она позволяет измерять количества и анализировать движения. В форме таксономии она призвана характеризовать (а следовательно, уменьшать индивидуальные особенности) и образовывать классы (а следовательно, исключать соображения о количестве). Но в виде дисциплинарного распределения таблица, напротив, выполняет функцию обработки множественности как таковой, распределяя ее и извлекая из нее максимум полезных следствий. В то время как природная таксономия строится по оси, которая связывает признак и категорию, дисциплинарная тактика располагается на оси, которая связывает единичное с множественным. Она позволяет и характеризовать индивида как индивида, и упорядочивать данную множественность. Она – непереносимое условие для контроля и использования совокупности различных элементов: основа микрофизики того, что можно назвать «клеточной»[287] властью.

Контроль над деятельностью

1

Распределение рабочего времени – старое наследие. Строгая модель была подсказана, несомненно, монастырскими общинами. Она быстро распространилась. Три ее основных метода – установление ритмичности, принуждение к четко определенным занятиям, введение повторяющихся циклов – очень скоро обнаружили в коллежах, мастерских и больницах. Новые дисциплины без малейшего труда нашли себе место в старых схемах; воспитательные дома и благотворительные заведения продолжали размеренную жизнь монастырей, при которых часто и существовали. Строгость промышленной эпохи долго сохраняла религиозный облик: «Всяк... приходящий утром на рабочее место, прежде всего должен вымыть руки, вверить свой труд воле Господа, осенить себя крестом и начать работать»[288]. Но даже в XIX веке сельских жителей, востребованных тогда в промышленности, порой объединяли в конгрегации, чтобы приучить к работе в цехах. Рабочих втискивали в рамки «заводов-монастырей». Военная дисциплина в протестантских армиях Мориса Оранского[289] и Густава Адольфа[290] была установлена под влиянием ритмики той эпохи, акцентированной благочестивыми упражнениями. Армейская жизнь, как сказал позднее Буссанель, должна обладать даже некоторыми «совершенствами самого монастыря»[291]. Столетиями религиозные ордена были учителями дисциплины: они были специалистами по времени, великими мастерами по ритму и регулярной деятельности. Но дисциплины изменяют методы упорядочения времени, из которых они произошли. Прежде всего, они их совершенствуют. Начинают считать в четвертях часа, минутах, секундах. Разумеется, это произошло в армии: Гибер систематически проводил хронометраж

стрельбы, предложенный ранее Вобаном[292]. В начальных школах разбивка времени становится все более дробной; все виды деятельности до мелочей регулируются приказами, которые должны выполняться немедленно: «При последнем ударе часов один из школьников звонит в колокол, и с первым его звоном все школьники становятся на колени, скрещивают руки и опускают глаза. По окончании молитвы учитель подает один сигнал, означающий, что ученики должны подняться, еще один – что они должны воздать хвалу Спасителю, и третий, приглашающий их сесть»[293]. В начале XIX века для школ взаимного обучения предлагается следующее расписание: «8.45: появление наставника, 8.52: наставник приглашает детей, 8.56: приход детей и молитва, 9.00: дети рассаживаются по скамьям, 9.04: первый диктант на грифельных досках, 9.08: окончание диктанта, 9.12: второй диктант и т. д.»[294] Постепенное распространение наемного труда влечет за собой все более детальное дробление времени: «Если рабочие придут более чем через четверть часа после звона колокола...»[295]; «если рабочего отвлекают во время работы и он теряет больше пяти минут...»; «тот, кого нет на работе в положенный час...»[296] Но стремятся также обеспечить качественное использование рабочего времени: непрерывный контроль, давление со стороны надзирателей, устранение всего, что может помешать или отвлечь. Надо создать полностью полезное время: «Строго запрещается во время работы развлекать товарищей жестами или иным образом, играть в игры, есть, спать, сплетничать и смеяться»[297]. И даже во время обеденного перерыва «не допускается никаких рассказов, похвалы своими похождениями или другой болтовни, отвлекающей рабочих отдела». Кроме того, «строго воспрещается под каким бы то ни было предлогом приносить вино на фабрику и выпивать в цехах»[298]. Измеряемое и оплачиваемое время должно быть также временем без примесей и изъянов, высококачественным временем, когда тело прилежно предается работе. Точность и прилежание являются наряду с размеренностью основными добродетелями дисциплинарного времени. Но не это самое большое новшество. Другие методы более характерны для дисциплин.

2

Детализация действия во времени. Рассмотрим, например, два способа контроля над марширующим войском. Начало XVII века: «Приучать солдат, шагающих шеренгами или батальоном, маршировать под барабанный бой. А для этого необходимо начать с правой ноги, необходимо, чтобы вся часть одновременно поднимала правую ногу»[299]. В середине XVIII века предусматриваются четыре типа шага: «Длина короткого шага – один фут, обычного шага, удвоенного шага, походного шага – два фута, причем измеряется она от пятки до пятки; что же касается продолжительности, то короткий шаг и обычный шаг производятся за одну секунду; за это же время делаются два удвоенных шага; шаг походный занимает несколько более секунды. Шаг на повороте производится за ту же секунду; его длина максимум 18 дюймов от пятки до пятки... Обычный шаг выполняется вперед, с высоко поднятой головой и выпрямленным телом; равновесие удерживается таким образом, что тяжесть тела целиком приходится на одну ногу, тогда как другая выносится вперед, причем икра напряжена, носок несколько повернут наружу и вниз, что позволяет без труда мягко касаться земли, и нога опускается на землю сразу вся и плавно, без топота»[300]. За промежуток времени, разделяющий эти два предписания, были введены в действие новый пучок принуждений, другая степень точности в разбиении жестов и движений, другой способ подчинения тела временным императивам.

Указ 1766 г. определяет не распределение времени – не общую рамку деятельности, но скорее коллективный и обязательный ритм, навязанный извне; «программу», которая обеспечивает детальную разработку самого действия, контролирует изнутри его выполнение и стадии. От формы приказа, измерявшего или подкреплявшего жесты, перешли к сетке, сковывающей и поддерживающей жесты во всей их последовательности. Устанавливается своего рода анатомо-хронологическая схема поведения. Действие разбивается на элементы. Определяется положение тел и конечностей, суставов. Для каждого движения предусматриваются направление, размах, длительность, предписывается последовательность его выполнения. В тело проникает время, а вместе с ним – все виды детальнейшего контроля, осуществляемого властью.

3

Отсюда корреляция тела и жеста. Дисциплинарный контроль заключается не только в обучении ряду конкретных жестов или их навязывании. Он насаждает наилучшее соотношение между жестом и общим положением тела, которое является условием его эффективности и быстроты. При надлежащем использовании тела, обеспечивающем надлежащее использование времени, ничто не должно оставаться бездействующим или бесполезным: должны быть привлечены все средства для поддержки требуемого действия. Хорошо дисциплинированное тело образует операционный контекст для малейшего жеста. Хороший почерк, например, предполагает некую гимнастику – прямо-таки установившийся порядок, строгие правила которого опутывают все тело от носка до кончика указательного пальца. Надо «не сутулиться, слегка повернуть тело и высвободить левую сторону, чуть наклониться, так чтобы, поставив локоть на стол, можно было опереться подбородком на кисть, если только это не мешает видеть. Левая нога под столом должна быть выдвинута чуть дальше правой. Между телом и столом должно оставаться расстояние в два пальца: не только потому, что это позволяет писать более энергично, но и потому, что нет ничего более вредного для здоровья, нежели привычка прижиматься животом к столу. Часть левой руки от локтя до кисти должна лежать на столе. Правая рука должна быть примерно на три пальца удалена от тела и примерно на пять пальцев – от стола, легко опираясь на него. Учитель должен объяснить школьникам, какой должна быть их осанка, и знаком или как-то иначе поправлять их, если они отклоняются от оптимального положения»[301]. Дисциплинированное тело – подставка для эффективного жеста.

4

Связь между телом и объектом. Дисциплина определяет, какие отношения тело должно поддерживать с объектом, которым оно манипулирует. Она устанавливает детально выверенное сцепление между ними. «Ружье вперед. В три такта. Ружье поднять правой рукой, приближая его к телу, чтобы держать его перпендикулярно правому колену. Конец ствола – на уровне глаз. Схватить ружье четким взмахом левой руки, причем эта рука прижата к телу на уровне пояса. Второй такт: левой рукой вынести ружье перед собой, расположив ствол отвесно прямо между глазами. Правой рукой схватить приклад, рука вытянута, спусковая скоба упирается в указательный палец, левая рука находится на уровне насечки, большой палец на стволе и прижат к багету. Третий такт: отвести от ружья правую руку, затвор повернут наружу против груди, правая рука полувытянута, локоть

прижат к телу, большой палец лежит на затворе, упираясь в первый винт, курок прижат к указательному пальцу, ствол расположен вертикально»[302]. Перед нами пример того, что можно назвать инструментальным кодированием тела. Оно заключается в разложении целостного жеста на два параллельных ряда: ряд используемых частей тела (правая рука, левая рука, различные пальцы руки, колено, глаз, локоть и т. д.) и ряд частей объекта, подвергаемого манипуляциям (ствол, насечка, курок, винт и т. д.); затем эти два ряда частей связываются вместе посредством некоторого числа простых жестов (нажать, согнуть); наконец, устанавливается каноническая последовательность, где каждое из этих соотношений занимает определенное место. Этот обязательный синтаксис и есть то, что военные теоретики XVIII века называли «маневром». Традиционный рецепт уступает место четким и принудительным предписаниям. На всю поверхность соприкосновения тела с объектом, подвергаемым манипуляции, проникает власть, скрепляющая их друг с другом. Она образует комплексы: тело – оружие, тело – инструмент, тело – машина. Отсюда предельно далеки те формы подчинения, что требовали от тела лишь знаков или продуктов, форм выражения или результата труда. Насаждаемая властью регламентация является в то же время законом построения операции. Так проявляется еще одно свойство дисциплинарной власти: она выполняет функцию не столько изъятия, сколько синтеза, не столько вымогательства продуктов труда, сколько принудительной связи с производственной машиной.

5

Исчерпывающее использование. Принцип, определявший распорядок дня в его традиционной форме, был в сущности негативным. Это принцип антипраздности: он запрещает попусту тратить время, которое отводится Богом и оплачивается людьми. Распорядок дня должен предотвращать опасность пустой траты времени, представляющей собой моральный проступок и экономическую нечестность. Дисциплина же обеспечивает позитивную экономию. Она устанавливает принцип теоретически постоянно возрастающего использования времени: скорее даже его исчерпывания, чем использования. Речь идет о том, чтобы извлекать из времени все больше доступных моментов, а из каждого момента – все больше полезных сил. Это значит, что надо стремиться более интенсивно использовать малейший миг, как если бы время в самом своем фрагментировании было неисчерпаемым или как если бы, по крайней мере путем все более детального внутреннего устройства, можно было стремиться к идеальной точке, где были бы достигнуты максимальная быстрота и максимальная эффективность. Именно эта техника воплотилась в знаменитых регламентах прусской пехоты, которым после побед Фридриха II[303] стала подражать вся Европа: чем более детально подразделяется время, чем больше множатся его доли, тем лучше можно расчленить его посредством разворачивания его внутренних элементов перед контролирующим их взором, тем более вероятна возможность ускорить операцию или, по крайней мере, упорядочить ее в соответствии с ее оптимальной скоростью. Отсюда регламентация времени действия, которая была столь важна в армии и должна была стать таковой во всей технологии человеческой деятельности: прусский регламент 1743 г. предусматривал 6 тактов в приставлении оружия к ноге, 4 – в выставлении его вперед, 13 – во вскидывании его на плечо и т. д. Хотя и другими способами, но школа взаимного обучения тоже была устроена как аппарат для более интенсивного использования времени. Ее организация позволила уйти от линейного, последовательного характера обучения: она

устанавливала многообразие операций, производимых одновременно различными группами учеников под руководством наставников и помощников таким образом, что каждый момент был насыщен многими различными, но упорядоченными действиями. С другой стороны, ритм, обусловленный сигналами, свистками и командами, диктовал для всех временные нормы, призванные ускорять процесс учебы и обучать скорости как добродетели[304]. «Единственная цель этих команд... приучить детей быстро и хорошо выполнять одни и те же операции и за счет скорости максимально снижать потерю времени на переход от одной операции к другой»[305].

Посредством этой техники подчинения начинает образовываться новый объект. Он постепенно вытесняет механическое тело – тело, которое состояло из твердых элементов и приданных ему движений и образ которого так давно преследовал мечтавших о дисциплинарном совершенстве. Этот новый объект – природное тело, носитель сил и местонахождение длительности; тело, подвергаемое специфическим операциям, имеющим свой порядок, время, внутренние условия, составные элементы. Становясь мишенью новых механизмов власти, тело подлежит новым формам познания. Это скорее тело упражнения, чем умоглядной физики. Скорее тело, которым манипулирует власть, нежели тело, наделенное животным сознанием. Тело полезной муштры, а не рациональной механики, но тело, в котором как раз благодаря этому факту напоминают о себе некоторые естественные требования и функциональные ограничения. Именно это тело открывает Гибер, критикуя слишком искусственные движения. В упражнении, которое ему навязывают и которому оно сопротивляется, тело обнаруживает свои существенные соотношения и спонтанно отвергает несовместимое с ними: «Загляните в большинство наших военных школ, и вы увидите там несчастных солдат, застывших в принужденных и вымученных позах, увидите, что их мускулы напряжены, кровообращение нарушено... Если мы задумаемся о замысле природы и строении человеческого тела, то поймем, какое положение и осанку природа предписывает солдату. Голову надлежит держать прямо, она должна возвышаться над плечами под прямым углом. Она не должна быть повернута ни влево, ни вправо, поскольку из-за связи между шейными позвонками и лопатками ни один из этих позвонков не может быть повернут, не вызывая легкого движения соответствующей стороны, и поскольку если тело уже не располагается прямо, то солдат не может идти прямо вперед, а его тело – служить точкой равнения... Поскольку берцовая кость, на которую Уложение указывает как на точку, куда должен упираться край приклада, расположена у людей неодинаково, одни должны держать ружье правее, а другие – левее. По той же причине различного телосложения спусковая скоба должна быть более или менее прижата к телу в зависимости от толщины наружной стороны плеча и т. д.»[306]

Мы видели, как процедуры дисциплинарного распределения нашли свое место в современных методах классификации и табулирования, но также и то, как они ввели в них специфическую проблему индивидов и множественности. Сходным образом дисциплинарный контроль над деятельностью имел место в целом ряде теоретических и практических исследований природной механики тел; но он начал открывать в этих телах специфические процессы; поведение и его органические требования постепенно заменили простую физику движения. Тело, которое должно быть послушным в своих мельчайших операциях, противопоставляет и обнаруживает условия функционирования, присущие организму. Коррелятом дисциплинарной власти является индивидуальность, не только

аналитическая и «клеточная», но и природная и «органическая».

Организация генезисов

В 1667 г. эдикт, учреждавший мануфактуру Гобеленов[307], предусматривал устройство школы. Шестьдесят детей-стипендиатов отбирались суперинтендантом королевских зданий, поручались на некоторое время учителю, который должен был дать им «воспитание и просвещение», а затем отдавались в учение к различным мастерам-гобеленщикам (получавшим за наставничество вознаграждение, вычитаемое из стипендии учеников). После шести лет ученичества, четырех лет службы и квалификационного экзамена ученики получали право «открывать и держать лавку» в любом городе королевства. Мы видим здесь характеристики, свойственные цеховому ученичеству: индивидуальная и вместе с тем общая зависимость от хозяина; устанавливаемая уставом длительность обучения, завершающегося квалификационным экзаменом, но не расписываемого в соответствии с четкой программой; широкий обмен между мастером, передающим свои знания, и подмастерьем, состоящим в услужении, помогающим и зачастую оплачивающим труд учителя. Форма услужения по хозяйству смешивается с передачей знаний[308]. В 1737 г. эдиктом была основана школа рисования для подмастерьев мануфактуры Гобеленов: она была задумана не как замена обучения у мастеров, а как дополнение к нему. Здесь предусматривался совсем другой распорядок дня. Ученики собираются в школе на два часа каждый день, кроме воскресений и праздников. Проводится переключка по вывешенному на стене списку, отсутствующие заносятся в журнал. В школе три класса. Первый класс состоит из тех, кто не имеет ни малейшего представления о рисовании; в зависимости от индивидуальных способностей их заставляют копировать более или менее трудные образцы. Второй класс – для тех, кто «уже обладает некоторыми знаниями» или окончил первый класс; они должны воспроизводить картины «на глаз, не калькируя», но передавая только рисунок. В третьем классе учатся владеть цветом и писать красками, рисуют пастелью, изучают основы теории и практики красильного дела. Через определенные промежутки времени ученики выполняют индивидуальные задания; каждая из работ, с проставленными фамилией автора и датой исполнения, сдается учителю; лучшие награждаются. В конце года все работы собираются и сравниваются, что позволяет судить об успехах, достоинствах на данный момент и сравнительном положении каждого ученика. Выносится решение о том, кто переводится в старший класс. В общем журнале, который ведут учителя и их помощники, ежедневно отмечаются поведение учеников и все происходящее в школе; периодически его передают для ознакомления инспектору[309].

Школа мануфактуры Гобеленов – лишь один пример важного явления: развития в классический век новой техники распределения ответственности за время индивидуальных жизней; управления соотношениями времени, тел и сил; обеспечения суммирования длительности; превращения проходящего времени в вечно растущую выгоду или пользу. Как капитализировать время индивидов, накопить его в каждом из них, в их телах, силах и способностях, да так, чтобы его можно было использовать и контролировать? Как организовать выгодные длительности? Дисциплины, расчленяющие пространство, разбивающие и вновь собирающие деятельность, тоже должны пониматься как машины для суммирования и капитализации времени. Это достигается посредством четырех процедур, с

наибольшей очевидностью проявляющихся в военной организации.

1°. Подразделять длительность на последовательные или параллельные отрезки, каждый из которых должен быть наполнен определенной деятельностью и продолжаться определенное время. Например, отделять время обучения от периода практики. Не смешивать обучение рекрутов с упражнениями ветеранов. Открывать специальные военные школы, обучающие армейской службе (в 1764 г. создается Парижская Школа[310], а в 1776 г. – двенадцать школ в провинции). Производить набор в профессиональные солдаты с самых малых лет, брать детей «под опеку родины, воспитывать в особых школах»[311], последовательно преподавать выправку, маршировку, обращение с оружием, стрельбу и не переходить от одного вида деятельности к другому до тех пор, пока ребенок не овладел должным образом первым («показывать солдату все упражнения разом – одна из основных ошибок»)[312]. Короче говоря, разбивать время на отдельные и организованные ряды.

2°. Организовывать эти ряды в соответствии с некой аналитической схемой – как последовательности максимально простых элементов, соединяющихся в порядке возрастающей сложности. Это значит, что обучение отходит от принципа подражания. В XVI веке военное упражнение заключалось главным образом в имитации сражения в целом или его части и общем умножении ловкости и силы солдата[313]. В XVIII веке обучение «приемам обращения с оружием» основывается на «элементарных» действиях, а не на «следовании образцу»: научают простым жестам – положению пальцев, сгибанию ноги, движению рук, – являющимся к тому же основными компонентами полезного поведения и обеспечивающим общую тренировку силы, ловкости, послушности.

3°. Доводить до завершения временные отрезки, определять их длительность, увенчивать их экзаменом, выполняющим тройственную функцию. Экзамен показывает, достиг ли индивид требуемого уровня, гарантирует, что его обученность соответствует обученности других, и определяет способности каждого индивида. Когда сержанты, капралы и т. п., которым «вверили обучение других, убедятся, что данный солдат готов к переходу в первый класс, они представляют его сначала офицерам своей роты, подвергая его детальному экзамену. Если будет решено, что он не вполне овладел необходимыми навыками, то его не переводят. Если же окажется, что он готов к переходу в следующий класс, то означенные офицеры сами представят его командующему полком, который (если сочтет нужным) встретится с ним и поручит старшим офицерам проэкзаменовать его. Достаточно малейшего промаха, чтобы солдат не был принят. Никто не может перейти из второго класса в первый до тех пор, пока не сдаст этот первый экзамен»[314].

4°. Устанавливать серии. Предлагать каждому индивиду (сообразно с его уровнем, выслугой лет, рангом) подходящие для него упражнения. Общие упражнения играют дифференцирующую роль, а каждый «разряд» включает специфические упражнения. По окончании каждой серии начинаются другие, которые, в свою очередь, разветвляются и подразделяются. Таким образом, каждый индивид вовлечен во временную серию, определяющую его уровень или ранг. Дисциплинарная полифония упражнений: «Солдаты второго класса должны упражняться каждое утро под началом сержантов, капралов, старшин, солдат первого класса... Солдаты первого класса упражняются по воскресеньям под началом командира отделения... Капралы и старшины упражняются по вторникам во

второй половине дня под руководством сержантов их роты, а эти последние, в свою очередь, упражняются днем 2, 12 и 22-го числа каждого месяца под руководством старших офицеров»[315].

Именно это дисциплинарное время постепенно внедряется в педагогическую практику, обособляя время обучения и отделяя его от времени взрослости, времени владения мастерством. Устанавливая различные стадии, отделенные друг от друга все более трудными экзаменами. Вводя программы, каждая из которых должна выполняться на определенной стадии и содержать упражнения возрастающей трудности. Квалифицируя индивидов в соответствии с их успехами в «сериях» обучения. Дисциплинарное время заменило «начальное» время традиционного обучения (все время, контролируемое лишь одним учителем и оцениваемое единственным экзаменом) своими многочисленными и все более сложными сериями. Формируется целая аналитическая педагогика, чрезвычайно детализированная (она разбивает предмет на простейшие элементы, иерархически выстраивает мелкие различия на каждой стадии развития) и исторически весьма рано сложившаяся (во многом она предвосхищает «генетические» анализы идеологов – анализы происхождения, технической моделью которых она, видимо, является). В самом начале XVIII века Демиа хотел разделить обучение чтению на семь степеней: первая – для тех, кто начинает учить буквы, вторая – для читающих по слогам, третья – для соединяющих слоги и складывающих их в слова, четвертая – для тех, кто читает латинские тексты фразами или от одного знака препинания до другого, пятая – для начинающих читать по-французски, шестая – для читающих лучше других, седьмая – для тех, кто может читать рукописи. Но если учеников много, то следует ввести дальнейшие подразделения. Так, в первом классе должно быть четыре группы: первая – для тех, кто учит «простые буквы», вторая – для тех, кто учит смешанные буквы, третья включает тех, кто учит краткие буквы, четвертая – тех, кто учит двойные буквы. Второй класс делится на три группы: те, кто «произносит вслух каждую букву, прежде чем образовать слог (D. O., DO)»; те, «кто читает по буквам самые трудные слоги, такие как bant, brand, spinx», и т. д.[316] Каждая стадия в этой комбинации элементов должна быть вписана в большую временную серию, обеспечивающую естественное развитие ума и являющуюся кодом образовательных процедур.

Распределение последовательных деятельностей по рядам – «сериям» – дает власти возможность выгодно использовать длительность: возможность детального контроля и точного вмешательства (в форме дифференциации, исправления, наказания, устранения) в любой момент времени; возможность характеризовать, а следовательно, использовать индивидов в соответствии с уровнем серии, которую они проходят; возможность накапливать время и деятельность, вновь открывать их суммированными и годными к использованию в конечном результате, представляющем собой предельную способность индивида. Рассредоточенное время собирается воедино, для того чтобы произвести выгоду, тем самым овладевая ускользящей длительностью. Власть непосредственно связана со временем; она обеспечивает контроль над ним и гарантирует его использование.

Дисциплинарные методы обнаруживают линейное время, моменты которого присоединяются друг к другу и которое направлено к устойчивой конечной точке. Словом, время «эволюции». Но следует помнить, что наряду с этим административные и экономические техники контроля обнаруживают социальное время серийного,

направленного и кумулятивного типа: открытие эволюции как «прогресса».

Дисциплинарные техники обнаруживают индивидуальные серии: открытие эволюции как «генезиса», происхождения. Прогресс обществ и происхождение индивидов – эти два крупнейших «открытия» XVIII столетия – возможно, соотносятся с новыми методами власти, а точнее – с новым способом управлять временем и делать его полезным путем разбивки на отрезки и серии, путем синтеза и накопления. Макро- и микрофизика власти сделали возможным не изобретение истории (в этом давно уже не было нужды), а органическое вхождение временного, единого, непрерывного, кумулятивного измерения в отправление контроля и практики подчинений. «Эволюционная» историчность, какой она тогда сформировалась – и столь глубоко укоренилась, что и поныне является для многих самоочевидной, – связана с неким режимом функционирования власти. Как, несомненно, и «история-воспоминание» хроник, генеалогий, подвигов, царствований и деяний долго была связана с другой модальностью власти. С появлением новых методов подчинения «динамика» непрерывных эволюции начинает заменять «династику» торжественных событий.

Во всяком случае, маленький временной континуум индивида как генезиса определенно представляется (подобно индивиду как ячейке или индивиду как организму) результатом и объектом дисциплины. И в центре этого серийного разбиения времени находится процедура, являющаяся здесь тем же, чем было составление «таблицы» для распределения индивидов и разбивки на ячейки или «маневр», – для экономии деятельностей и органического контроля. Эта процедура – «упражнение». Упражнение есть техника, посредством которой телам диктовались задания – одновременно повторяющиеся и различные, но всегда распределенные в порядке усложнения. Направляя поведение к некоему конечному состоянию, упражнение позволяет непрерывно характеризовать индивида либо относительно этого состояния, либо относительно прочих индивидов, либо относительно типа его пути. Тем самым упражнение обеспечивает, в форме преемственности и принуждения, рост, наблюдение и оценку. Прежде чем принять столь строгую дисциплинарную форму, упражнение пережило долгую историю: оно обнаруживается в военной, религиозной и университетской практиках, а также в ритуале посвящения, подготовительной церемонии, театральной репетиции и экзамене. Его линейная и постоянно прогрессирующая организация, его генетическое развитие во времени возникают позднее (по крайней мере в армии и школе) и имеют, несомненно, религиозные истоки. Во всяком случае, идея образовательной «программы», сопровождающей ребенка вплоть до завершения его учебы в школе и предполагающей от года к году и от месяца к месяцу упражнения возрастающей трудности, впервые возникла, видимо, в одной религиозной группе, в «Братстве общинной жизни»[317]. Вдохновленные Рюйсбруком[318] и рейнским мистицизмом, братья перенесли некоторые их духовные техники на обучение – и не только писцов, но и юристов и торговцев. Тема совершенства, к которому ведет ученика достойный подражания учитель, становится у них темой авторитарного совершенствования учеников учителем. Все более суровые упражнения, предполагаемые жизнью аскета, становятся у них все более сложными заданиями, которые знаменуют собой постепенное достижение знаний и примерного поведения. Стремление всей общины к спасению становится коллективным и постоянным состязанием индивидов, классифицируемых относительно друг друга. Возможно, именно эти процессы общинной

жизни и общего спасения образовали первое ядро методов, направленных на выработку индивидуально характеризующихся, но коллективно полезных пригодностей[319]. В своей мистической или аскетической форме упражнение было способом упорядочения земного времени ради достижения спасения. Постепенно в ходе истории Запада оно изменяет направление, сохраняя при этом некоторые свои характеристики; оно служит для экономии времени жизни, для накопления его в полезной форме и для отправления власти над людьми посредством таким образом устроенного времени. Упражнение, став элементом политической технологии тела и длительности, не завершается в потустороннем, а стремится к подчинению, никогда не достигающему своего предела.

Сложение сил

«Для начала избавимся от старого предрассудка, будто сила войска умножается с увеличением его численности. Физические законы движения становятся химерами, когда их пытаются применить к тактике»[320]. С конца XVII века техническая проблема пехоты состоит в том, чтобы освободиться от физической модели массы. Вооруженные пиками и мушкетами – оружием не быстрым и не точным, практически не позволявшим целиться и попадать в цель, – войска использовались как снаряд, как стена или крепость: «грозная инфантерия испанской армии». Распределение солдат в этой массе производилось главным образом в соответствии с выслугой и доблестью; в центре ставились новобранцы, призванные обеспечивать вес и объем и придавать плотность всему корпусу; впереди по углам и на флангах – самые отважные или пользующиеся репутацией наиболее опытных. В классическую эпоху перешли к целому множеству тонких взаимосвязей. Единица – полк, батальон, отделение, а позднее «дивизия»[321] – становится своего рода машиной с многочисленными деталями, которые перемещаются, с тем чтобы прийти к некой конфигурации и достичь конкретного результата. Каковы причины этого изменения? Некоторые из них – экономические: надо было сделать каждого индивида полезным, а муштру, содержание и вооружение войск – рентабельными. Надо было придать каждому солдату, этой драгоценной единице, максимальную эффективность. Но экономические причины смогли стать определяющими лишь благодаря техническому новшеству – изобретению ружья[322]. Более точное, более быстрое, чем мушкет, оно увеличивает значение ловкости солдата; лучше поражающее конкретную цель, оно позволяет использовать огневую мощь на уровне индивида; и наоборот, оно превращает каждого солдата в возможную мишень, требуя к тому же большей мобильности. Следовательно, ружье повлекло за собой исчезновение техники масс, уступившей место искусству распределения единиц и людей в протяженные, относительно гибкие и мобильные линии. Отсюда необходимость выработки рассчитанной практики индивидуальных и коллективных расположений, движений групп и отдельных элементов, изменения позиций, перехода от одной расстановки к другой. Короче говоря, необходимость изобретения механизма, принципом действия которого была бы уже не подвижная или неподвижная масса, а геометрия делимых отрезков с ее основополагающей единицей, представляемой мобильным солдатом с ружьем[323]. И несомненно, ниже солдата – мельчайшие жесты, элементарные этапы действий, фрагменты занимаемых или пересекаемых пространств.

Те же проблемы возникают, когда требуется образовать производительную силу, эффективность которой должна превышать сумму составляющих ее элементарных сил: «По сравнению с равновеликой суммой отдельных индивидуальных рабочих дней комбинированный рабочий день производит большие массы потребительских стоимостей и уменьшает поэтому рабочее время, необходимое для достижения определенного полезного эффекта. В каждом отдельном случае такое повышение производительной силы труда может достигаться различными способами: или повышается механическая сила труда, или расширяется пространственно сфера ее воздействия, или арена производства пространственно суживается по сравнению с масштабом производства, или в критический момент приводится в движение большое количество труда в течение короткого промежутка времени... Но во всех этих случаях специфическая производительная сила комбинированного рабочего дня есть общественная производительная сила труда, или производительная сила общественного труда. Она возникает из самой кооперации»[324].

Так возникает новое требование, обращенное к дисциплине: построить машину, действие которой будет максимально усилено благодаря согласованному сопряжению составляющих ее элементарных деталей. Отныне дисциплина – не просто искусство распределения тел, извлечения из них времени и накопления этого времени, а искусство сложения сил в целях построения эффективной машины. Это требование выражается несколькими способами.

1

Единое тело становится элементом, который можно разместить, привести в движение, соединить с другими элементами. Его основными определяющими переменными являются теперь не доблесть или сила, а занимаемое место, отрезок, который оно собой закрывает, правильность и надлежащее расположение, с которым оно согласует свои перемещения. Солдат – прежде всего фрагмент подвижного пространства и только потом – мужество или доблесть. Вот как характеризует солдата Гибер: «Находясь в строю, он занимает два фута в наибольшем измерении, т. е. с головы до ног, и примерно один фут в самом широком месте, в плечах; к сему надо добавить фут промежутка между ним и следующим солдатом. Это дает два фута во всех направлениях на каждого солдата, а значит, пехотное войско в сражении занимает по фронту или в глубину столько шагов, сколько в нем рядов»[325]. Это функциональное упрощение тела. Но также и введение тела-сегмента в единицу, с которой оно связано. Солдат, чье тело вымуштровано так, что каждая часть функционально предназначена для определенных действий, должен, в свою очередь, быть элементом механизма на другом уровне. Вначале солдат обучают «поодиночке, затем по двое, затем в большем количестве... Относительно обращения с оружием: после того как солдаты обучились по отдельности, их заставляют выполнять команды по двое и попеременно меняться местами, чтобы левый научился приспосабливаться к правому»[326]. Тело конституируется как часть многосегментной машины.

2

Частями механизма являются и различные хронологические последовательности, которые дисциплина комбинирует, чтобы образовать сложное время. Время каждого должно быть приспособлено ко времени других таким образом, чтобы из каждого можно было извлечь

максимальное количество сил, а их комбинация давала бы оптимальный результат. Так, Серван мечтал о военной машине, охватывающей всю территорию государства. Каждый в ней должен быть непрерывно занят, но занят по-своему, т. е. в зависимости от эволюционного сегмента, генетической серии, в которой находится. Военная жизнь должна начинаться с детства: дети учатся военному ремеслу в «военных манорах». Заканчиваться она должна в тех же поместьях, ибо ветераны до последнего дня должны обучать детей и рекрутов, руководить учениями солдат, надзирать за ними во время общественных работ и, наконец, поддерживать порядок в стране, когда войско сражается на границах. В жизни нет ни одного момента, из которого нельзя было бы извлечь силы; надо только уметь вычленить момент и соединить его с другими. Так в крупных мастерских используется труд детей и стариков: ведь они обладают определенными элементарными способностями, которые излишне было бы эксплуатировать в рабочих, используемых в других целях; далее, они образуют дешевую рабочую силу; наконец, работая, они не находятся на иждивении. «Трудящийся люд с десяти лет и до старости, – сказал сборщик налогов на одном предприятии в городе Анжере, – может найти на этой мануфактуре средства против праздности и ее детища – бедности»[327]. Но, несомненно, в начальном образовании приспособление друг к другу различных хронологий должно было производиться максимально тщательно. С XVII века до введения в начале XIX века метода Ланкастера сложный часовой механизм школы взаимного обучения приводился в действие благодаря сцеплению колесиков: самым старшим ученикам поручаются сначала простой надзор, затем контроль над выполнением заданий и, наконец, преподавание; в конечном счете время всех учеников полностью занято либо обучением других, либо учебой. Школа стала учебной машиной, где каждый ученик, каждый уровень и каждый момент, если они должным образом соединены, постоянно используются в общем процессе обучения. Один из ярких сторонников школы взаимного обучения дает нам некоторое представление о прогрессе: «В школе на 360 детей учитель, который хочет в течение трехчасового занятия поработать индивидуально с каждым учеником, сможет посвятить ему лишь полминуты. Новый метод позволяет каждому из 360 учеников писать, читать или считать в течение двух с половиной часов»[328].

3

Тщательно рассчитанное соединение сил требует четкой системы командования. Вся деятельность дисциплинированного индивида должна перемежаться и подкрепляться приказами, эффективность которых определяется краткостью и ясностью. Приказ не надо ни объяснять, ни даже формулировать: достаточно того, чтобы он вызывал требуемое поведение. Ответственный за дисциплину общается с тем, кто ей подчиняется, посредством сигнализации: не надо понимать приказ, надо воспринимать сигнал и немедленно на него реагировать, следуя заранее установленному более или менее искусственному коду. Помещать тела в маленький мир сигналов, каждому из которых соответствует обязательная и единственная реакция: техника муштры, «деспотически исключая малейшее замечание и тишайший ропот». Дисциплинированный солдат «начинает повиноваться всему, что бы ни приказали; его повиновение быстро и слепо; тень непослушания, малейшая задержка были бы преступлением»[329]. Муштра школьников должна производиться так же: мало слов, никаких объяснений, полная тишина, прерываемая лишь сигналами – звоном колокола, хлопаньем в ладоши, жестами, просто

взглядом учителя или маленьким деревянным приспособлением, применяемым братьями в христианских школах, – преимущественно его и называли «Сигналом», и в своей механической краткости он содержал и технику приказа, и мораль повиновения. «Первая и главная функция сигнала – сразу обращать к учителю взгляды всех учеников и заставлять их внимать тому, что он хочет им сообщить. Так, когда он хочет привлечь внимание детей и прекратить упражнение, он должен ударить один раз. Заслышав звук сигнала, хороший ученик вообразит, будто слышит голос учителя или даже глас Божий, окликающий его по имени. Потому он проникнется чувствами юного Самуила, в глубине души говоря вместе с ним: вот я, Господи». Ученик должен заучить код сигналов и автоматически реагировать на них. «После молитвы учитель дает один сигнал и, взглянув на ребенка, которого хочет послушать, делает ему знак начинать. Чтобы остановить чтение, снова подает один сигнал... Чтобы сообщить читающему, что надо повторить, если тот прочитал плохо или неправильно произнес букву, слог или слово, он быстро подает два последовательных сигнала. Если после двукратного или трехкратного повторения сигнала читающий ученик не нашел и не повторил плохо прочитанного или произнесенного слова – поскольку до сигнала он прочитал еще несколько других слов, – то учитель быстро сигнализирует три раза подряд, давая ученику знак, что он должен вернуться на несколько слов назад, и продолжит сигнализировать, пока ученик не дойдет до плохо произнесенного слова»[330]. Школа взаимного обучения должна была усилить контроль над поведением путем системы сигналов, на которые необходимо реагировать немедленно. Даже словесные сигналы должны действовать как элементы сигнализации: «Подойдите к вашим скамьям. При слове подойдите дети с глухим стуком кладут правую руку на стол и одновременно ставят одну ногу за скамью. При словах к вашим скамьям ставят за скамью другую ногу и усаживаются против грифельных досок... Возьмите ваши доски. При слове возьмите дети берут правой рукой веревку, за которую доска подвешена на гвозде перед ними, а левой обхватывают середину доски; при слове доски они отвязывают доски и кладут их на стол»[331].

Словом, дисциплина создает из контролируемых тел четыре типа индивидуальности или, скорее, некую индивидуальность, обладающую четырьмя характеристиками: она клеточная (в игре пространственного распределения), органическая (кодирование деятельности), генетическая (суммирование времени) и комбинированная (сложение сил). Для того чтобы добиться этого, дисциплина использует четыре основных метода: строит таблицы; предписывает движения; принуждает к упражнениям; наконец, чтобы достичь сложения сил, использует «тактики». Тактики – искусство строить из выделенных тел, кодированных деятельности и сформированных муштрой навыков аппараты, в которых результат действия различных сил усиливается благодаря их рассчитанной комбинации, – являются, несомненно, высшей формой дисциплинарной практики. В понимании этого теоретики XVIII века усматривали общее основание всей военной практики, от контроля и упражнения индивидуальных тел до использования сил, присущих сложнейшим множествам. Архитектура, анатомия, механика, экономия дисциплинарного тела: «По мнению многих военных, тактики – лишь отрасль обширной военной науки. С моей же точки зрения, они – основа этой науки. Они и есть сама эта наука, поскольку они учат нас, как организовать войска, установить порядок, передислоцировать, вести их в бой. Одни лишь тактики способны заменить число умением и управлять массой. Наконец, тактика предполагает знание людей, оружия, трудностей, обстоятельств, поскольку именно все эти виды знания вместе и должны определять движения войск»[332]. Или еще: «Этот термин [тактика]...

дает некоторое представление о положении людей, составляющих конкретное войско, относительно других войск, входящих в армию, об их движениях, действиях и взаимоотношениях»[333].

Возможно, война как стратегия – продолжение политики. Но не надо забывать, что «политику» рассматривали как продолжение если не собственно и не непосредственно войны, то по крайней мере военной модели как основного средства предотвращения гражданских смут. Политика как техника установления внутреннего мира и внутреннего порядка стремилась применить механизм совершенной армии, дисциплинированной массы, послушного и полезного войска, полка в лагере и поле, на маневрах и в упражнениях. В крупных государствах XVIII века армия гарантирует гражданский мир, поскольку она представляет собой реальную силу, вечно грозящий меч, но также и потому, что она воплощает технику и знание, схема которых может быть перенесена на все общественное тело. Если есть ряд политика – война, проходящий через стратегию, то есть и ряд армия – политика, проходящий через тактику. Именно стратегия позволяет понимать войну как метод ведения межгосударственной политики; именно тактика позволяет понимать армию как принцип, поддерживающий мир в гражданском обществе. Классический век видел рождение великой политической и военной стратегии противостояния государств экономической и демографической силе других государств, но он видел и рождение тщательно разработанной военной и политической тактики, в соответствии с которой государства осуществляют контроль над индивидуальными телами и силами. «Военное» – военный институт, сама личность военного, военная наука, столь отличные от того, что прежде характеризовало «воина», – располагается в этот период на стыке между войной и гулом сражения, с одной стороны, и порядком и тишиной, способствующими миру, – с другой. Историки идей обычно приписывают философам и юристам XVIII столетия мечту о совершенном обществе. Но была и военная мечта об обществе: она была связана не столько с естественным состоянием, сколько с детально подчиненными и прилаженными колесиками машины, не с первоначальным договором, а с постоянными принуждениями, не с основополагающими правами, а с бесконечно возрастающей муштрой, не с общей волей, а с автоматическим послушанием.

«Дисциплину надо сделать государственной», – говорил Гибер. «Рисуемое мной государство будет иметь простое, надежное, легко контролируемое управление. Оно будет напоминать огромные машины, которые с помощью чрезвычайно простых средств достигают поразительных результатов. Сила этого государства будет проистекать из его собственной силы, благополучие – из его собственного благополучия. Время, которое разрушает все, умножит его мощь. Оно опровергнет ходячий предрассудок, будто империи подвержены неумолимому закону упадка и разрушения»[334]. Недалек уже наполеоновский режим, а с ним – форма государства, которой суждено было его пережить и основания которой, не надо забывать об этом, были заложены не только юристами, но и солдатами, не только государственными советниками, но и младшими офицерами, не только слугами правосудия, но и людьми лагеря. Преследовавший эту формацию образ Римской империи нес в себе эту двойственность: граждане и легионеры, закон и маневры. В то время как юристы и философы искали в договоре исходную модель для строительства или перестройки общественного тела, военные, а с ними и техники дисциплины разрабатывали процедуры индивидуального и коллективного принуждения тел.

Глава 2. Средства выверенной муштры

В самом начале XVII века Валхаузен говорил о «собственно дисциплине» как искусстве «выверенной муштры»[335]. Действительно, основная функция дисциплинарной власти – не изъятие и взимание, а «муштра»; точнее говоря, муштра, нацеленная на то, чтобы изымать и взимать больше. Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать. Вместо того чтобы насильственно превращать все подчиненное ей в однородную массу, она разделяет, анализирует, различает и доводит процессы подразделения до необходимых и достаточных единиц. Она «муштрует» подвижные, расплывчатые, бесполезные массы тел и сил, превращая их в множественность индивидуальных элементов – отдельных клеточек, органических автономий, генетических тождеств и непрерывностей, комбинационных сегментов. Дисциплина «фабрикует» личности, она – специфическая техника власти, которая рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее отправления. Не торжествующей власти, которая из-за собственной чрезмерности может гордиться своим всемогуществом, – а тихой, подозрительной власти, действующей как рассчитанная, но постоянная экономия. Скромные модальности, стелющиеся методы, если сравнить их с величественными ритуалами власти суверена или с грандиозными государственными аппаратами. И именно они постепенно вторгнутся в главные формы, изменят их механизмы, навяжут им свои методы. Судебный аппарат не избежит этого почти неприкрытого вторжения. Успех дисциплинарной власти объясняется, несомненно, использованием простых инструментов: иерархического надзора, нормализующей санкции и их соединения в специфической процедуре – в экзамене.

Иерархический надзор

Отправление дисциплины предполагает устройство, которое принуждает игрой взгляда: аппарат, где технологии, позволяющие видеть, вызывают проявления и последствия власти и где средства принуждения делают видимыми тех, на кого они воздействуют. В классический век медленно создаются «обсерватории» человеческих множеств, не заслужившие добрых слов в истории наук. Наряду с великой технологией телескопа, линзы, пучка света, составлявшей одно целое с основаниями новой физики и космологии, существовали малые техники многочисленных и перекрещивающихся надзоров, взглядов, которые должны видеть, оставаясь невидимыми. Используя техники подчинения и методы эксплуатации, безвестное искусство света и видимого исподволь готовило новое знание о человеке.

Упомянутые «обсерватории» основываются на почти идеальной модели военного лагеря. Он представляет собой недолговечный искусственный город, который по желанию можно строить и перестраивать почти до бесконечности; он – высшая сфера власти, которая, поскольку она воздействует на вооруженных людей, должна обладать большей силой, но и большей сдержанностью, большей эффективностью и превентивной ценностью. В совершенном лагере вся власть осуществляется исключительно путем точного надзора. Каждый взгляд – сколок с глобального действия власти. Старый традиционный квадратный план значительно усовершенствовался, появилось много новых схем. Точно определяются геометрия проходов, число и расположение палаток, ориентация входов в них, расположение поперечных и продольных рядов. Вычерчивается сеть взглядов, контролирующих друг друга. «На плацдарме проводится пять линий, причем первая располагается в 16 футах от второй, а остальные – в 8 футах друг от друга. Последняя проходит в 8 футах от оградительных валов. Оградительные валы располагаются в 10 футах от палаток младших офицеров, точно против первого кола. Ширина палаточной улицы – 51 фут... Все палатки отделены друг от друга расстоянием в два фута. Палатки младших офицеров располагаются против улиц их рот. Задний кол вбивается в 8 футах от последней солдатской палатки. Входы смотрят на капитанскую палатку... Палатки капитанов располагаются против улиц их рот. Их двери выходят на роты»[336]. Лагерь – диаграмма власти, действующей путем организации общей и полной видимости. Долгое время модель лагеря (или по крайней мере ее основополагающий принцип – пространственная стыковка иерархизированных надзоров) использовалась в построении городов, при строительстве рабочих поселений, больниц, приютов, домов ума лишенных, тюрем и воспитательных домов. Использовался принцип «пазового соединения». Для весьма постыдного искусства надзоров лагерь то же, что камера-обскура для большой науки: оптики.

Тут развивается целая проблематика: проблематика архитектуры, которая создается отныне не просто для того, чтобы предстать взору (пышность дворцов), не для обеспечения обзора внешнего пространства (геометрия крепостей), а ради осуществления внутреннего упорядоченного и детального контроля, ради того, чтобы сделать видимыми находящиеся внутри. Словом, архитектура теперь призвана быть инструментом преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в ней находится, управлять их поведением, доводить до них проявления власти, делать их доступными для познания, изменять их. Камни могут делать людей послушными и знающими. Старая простая схема заключения и ограждения (толстые стены, тяжелые ворота, затрудняющие вход и выход) заменяется расчетом числа окон и дверей, глухих и пустых пространств, проходов и просматриваемых мест. Здание больницы постепенно строится как инструмент медицинского воздействия: больничное здание должно обеспечивать хорошее наблюдение за больными, а следовательно – выбор лучшего способа лечения. Форма корпусов, обеспечивающая тщательное распределение больных, должна препятствовать распространению заразных болезней. Наконец, вентиляция и воздух, циркулирующий над каждой койкой, должны препятствовать скоплению вокруг пациента тлетворных паров разложения, предотвращая угнетенное состояние духа и, следовательно, усиление болезни. Больница – какой ее видят во второй половине века, о чем свидетельствуют многочисленные проекты, предложенные после того, как во второй раз сгорела центральная парижская больница[337], – не просто крыша, дающая прибежище невзгодам и неминуемой смерти; она действует терапевтически самой своей материальностью.

Подобно этому, здание школы должно быть механизмом муштры. Пари-Дюверне задумал Военную школу как настоящую педагогическую машину и в мельчайших деталях навязал свой проект архитектору Габриелю[338]. Муштровать тела – императив здоровья; формировать компетентных офицеров – императив квалификации; создавать послушных военных – императив политики; предупреждать разврат и гомосексуализм – императив нравственности. Четыре причины установления глухих перегородок между индивидами, но и глазков для постоянного надзора. Само здание Военной школы должно было быть аппаратом надзора: спальни размещались вдоль коридора, подобно ряду маленьких келий. Через равные промежутки располагались комнаты офицеров, так, чтобы «каждый десяток учеников окружался офицерами справа и слева», Ученики запирались в спальнях на всю ночь, и Пари-Дюверне настоял на том, чтобы «перегородка каждой спальни была застеклена со стороны коридора, от уровня груди на один-два фута до потолка. Кроме того, что иметь такие окна просто приятно, они, смеем сказать, во многих отношениях полезны, не говоря уж о соображениях дисциплины, решающих для такого устройства»[339]. В столовых – «небольшая платформа для столов наставников, позволяющая им видеть все столы учеников их отделения во время еды». Двери уборных укорочены сверху и снизу (чтобы дежурный надзиратель мог видеть головы и ноги учеников), тогда как поперечные перегородки достаточно высоки (чтобы «находящиеся внутри не видели друг друга»[340]). Бесконечно детализированное стремление к надзору, выраженное в архитектуре с помощью бесчисленных мелких приспособлений. Их можно считать незначительными, только если забыть о роли такого устройства – второстепенной, но безусловно исполняемой – в нарастающей объективации и все более детальном дроблении надзора за индивидуальным поведением. Дисциплинарные институты выработали механизм контроля, действующий как некий микроскоп для наблюдения за поведением; сделанные ими четкие, аналитически выверенные подразделения образовали вокруг людей аппарат наблюдения, регистрации и муштры. Как подразделить взгляд в этих машинах наблюдения? Как установить между ними сеть коммуникаций? Как организовать, чтобы из их рассчитанной множественности получилась однородная, непрерывная власть?

Совершенный дисциплинарный аппарат должен обеспечить способность видеть постоянно все «одним взглядом». Центральная точка должна быть как источником всеосвещающего света, так и местом сходимости всего, что подлежит познанию: совершенным глазом, от которого ничто не ускользает, и центром, притягивающим к себе все взгляды. Именно это имел в виду Леду, когда строил Арки-Сенан[341]: все здания выстроены в круг и открываются во двор, в центре которого – высокое строение, допускающее использование его с различными целями (управленческими, полицейскими целями надзора, экономическими – контроля и проверки, религиозными – наставления на повиновение и труд); отсюда исходят все приказы, здесь фиксируются все деятельности, рассматриваются и судятся все проступки; и это делается непосредственно, с опорой исключительно на точную геометрию. Одна из причин, по которым кругообразные архитектурные сооружения[342] во второй половине XVIII века считались столь престижными, состоит, несомненно, в том, что они выражают определенную политическую утопию.

Однако во второй половине XVIII века дисциплинарный взгляд нуждается в механизмах передачи. Пирамида – более действенно, нежели круг – отвечает двум требованиям: она достаточно полна и образует непрерывную сеть (отсюда возможность умножения ее

ступеней и распределения их по всей контролируемой поверхности); и достаточно незаметна, чтобы не давить мертвым грузом на дисциплинируемую деятельность, не быть для нее тормозом или препятствием, а органично вписываться в дисциплинарное устройство как функция, усиливающая его возможные результаты. Ее необходимо разбить на более мелкие элементы, но лишь для того чтобы усилить ее производительную функцию: детализировать надзор и сделать его функциональным.

Эту проблему решали крупные цехи и заводы, где был организован надзор нового типа. Он отличается от надзора, практиковавшегося прежде на мануфактурах, где его производили извне инспектора, следящие за выполнением правил. Теперь же требуется интенсивный, непрерывный контроль, который проникает непосредственно в рабочий процесс и распространяется не только на производство (здесь это контроль за качеством и количеством сырья, типом используемых инструментов, размерами и качеством изделий): он учитывает также деятельность людей, их навыки, манеру работать, проворность, усердие и поведение. Но он отличается и от домашнего надзора мастера, стоящего за спиной своих рабочих и подмастерьев: ведь он осуществляется служащими, контролерами и старшими мастерами. Когда производственный аппарат становится крупнее и сложнее, когда возрастает число рабочих и разделение труда, надзор становится еще более необходимым и трудным. Он становится особой функцией, которая тем не менее должна составлять неотъемлемую часть производственного процесса, сопровождать его на всем его протяжении. Возникает потребность в специальном персонале, постоянно присутствующем и не принадлежащем к среде рабочих: «На крупной мануфактуре все делается по часам, рабочих принуждают и ругают. Служащие, привыкшие относиться к рабочим свысока и командовать, что действительно необходимо по отношению к массе, обращаются с ними строго или презрительно, и поэтому рабочие либо получают более высокую зарплату, либо покидают мануфактуру вскоре после поступления»[343]. Но, хотя рабочие предпочитают контроль цехового типа новому режиму надзора, хозяева понимают, что новый надзор неотделим от системы промышленного производства, частной собственности и прибылей. На крупном металлургическом заводе или шахте «статей расхода так много, что малейшая нечестность может привести к ужасному мошенничеству, которое не только поглотит прибыли, но и приведет к потере капитала... Любая некомпетентность, если она остается незамеченной, а потому повторяется каждый день, может оказаться настолько пагубной для предприятия, что очень быстро его разрушит». А потому только служащие, подчиняющиеся непосредственно хозяину и занятые исключительно надзором, следят за тем, «чтобы не было ни гроша лишних расходов и ни минута не прошла впустую»; их роль – «следить за рабочими, контролировать все рабочие места, сообщать хозяевам обо всем, что происходит»[344]. Таким образом, надзор становится решающим экономическим фактором – как внутренняя деталь производственного аппарата и как специфический механизм дисциплинарной власти[345].

Та же тенденция обнаруживается и в реорганизации начального образования: элементы надзора были конкретизированы и надзор стал неотъемлемой частью учебных отношений. Развитие приходских школ, рост числа их учеников, отсутствие методов, регулирующих работу сразу всего класса, вытекающие из этого беспорядок и сумятица сделали необходимым введение системы надзора. В помощь учителю Батенкур выбрал из лучших учеников ряд «офицеров» – интендантов, наблюдателей, помощников учителя, репетиторов,

чтецов молитв, ответственных за письмо и раздачу чернил, духовников и посетителей семей. Эти роли, таким образом, разделяются на два типа: одни относятся к материальным задачам (раздача чернил и бумаги, подавание бедным, чтение духовных текстов по праздникам и т. п.), другие предполагают надзор. «Наблюдатели» должны фиксировать, кто покинул скамью, кто разговаривал, кто пришел без четок или часослова, кто плохо вел себя во время молитвы, сделал что-то непристойное, болтал или вопил на улице. «Увещеватели» должны «следить за теми, кто разговаривает или шепчется во время уроков, не пишет или ротозейничает». «Посетители» ходят по семьям учеников, которые отсутствовали на занятиях или совершили серьезные проступки. «Интенданты» контролируют всех других «офицеров». Одни только «репетиторы» играют педагогическую роль: заставляют учеников читать попарно вполголоса[346]. Несколько десятилетий спустя Демиа избирает иерархию того же типа, но почти все функции надзора играют у него и педагогическую роль: один помощник учителя учит правильно держать перо, водит рукой ученика, исправляет ошибки и одновременно «записывает проступки шалунов»; другой помощник учителя выполняет те же функции на уроке чтения. Интендант, контролирующий других офицеров и отвечающий за поведение в целом, занимается также «посвящением новичков в школьные обычаи». Декурионы заставляют детей учить уроки и «записывают» невыучивших[347]. Здесь перед нами набросок школы «взаимного обучения», в которой соединяются в одном механизме три процедуры: собственно обучение, приобретение знаний непосредственно в практической педагогической деятельности и, наконец, взаимное иерархизированное наблюдение. Отношение надзора, определенное и регулируемое, вписывается в сердцевину практики обучения, и не как дополнительная или вспомогательная часть, но как механизм, который ей внутренне присущ и повышает ее эффективность.

Возможно, иерархизированный, непрерывный и функциональный надзор не принадлежит к великим техническим «изобретениям» XVIII века, но его коварное распространение обязано своей значимостью несомым им механизмам власти. Благодаря такому надзору дисциплинарная власть становится «цельной» системой, внутренне связанной с экономией и целями механизма, через который она отправляется. Она организуется также как множественная, автоматическая и анонимная власть; ведь хотя надзор основывается на индивидах, он действует по сети отношений сверху вниз, но также, до некоторой степени, и снизу вверх и горизонтально; эта сеть «удерживает» целое и насквозь пронизывает его происходящими одно от другого проявлениями власти: надзиратели, находящиеся под постоянным надзором. Власть в иерархизированном надзоре дисциплин – не вещь, которой можно обладать, она не передается как свойство; она действует как механизм. И хотя пирамидальная организация действительно предполагает наличие «главы», именно механизм в целом производит «власть» и распределяет индивидов в постоянном и непрерывном поле. Это позволяет дисциплинарной власти быть одновременно чрезвычайно нескромной, поскольку она повсюду и всегда начеку, поскольку в силу самого своего принципа она не оставляет ни малейшей теневой зоны и постоянно надзирает за теми самыми индивидами, на которых возложена функция надзора, – и крайне «скромной», поскольку она действует постоянно и главным образом безмолвно. Дисциплина делает возможным функционирование власти через отношения, власти, которая поддерживает себя собственными механизмами и заменяет зрелищные публичные ритуалы непрерывной игрой рассчитанных взглядов. Благодаря методам надзора «физика» власти – господство

над телом – осуществляется по законам оптики и механики, по правилам игры пространств, линий, экранов, пучков, степеней и не прибегает, по крайней мере в принципе, к чрезмерности, силе или насилию. Это власть, которая кажется тем менее «телесной», чем более искусно она организована как «физическая».

Нормализующее наказание

1

В сиротском приюте шевалье Поле заседания суда, собиравшегося каждое утро, превращались в настоящий церемониал: «Мы увидели, что все ученики построены, словно перед сражением: безупречный строй, полная неподвижность и молчание. Майор, юный шестнадцатилетний дворянин, стоит перед строем со шпагой в руке. По его команде войско размыкает ряды и образует круг. В центре собирается совет. Каждый офицер докладывает о поведении своей роты за прошедшие сутки. Обвиняемым предоставляется возможность оправдаться. Заслушивают свидетелей. Суд совещается, и когда согласие достигнуто, майор возглашает число виновных, сообщает о характере проступков и вынесенных наказаниях. Затем войско удаляется маршем в строжайшем порядке»[348]. В ядре всех дисциплинарных систем действует маленький карательный механизм. Он обладает своего рода привилегией правосудия с собственными законами, классификацией проступков, конкретными формами наказания и судебными инстанциями. Дисциплины устанавливают «инфра-наказание»; они систематизируют пространство, не заполненное законами, квалифицируют и карают массу проступков, которые в силу их относительно малой значимости не учитываются большими системами наказания. «Приходя на работу, рабочие должны приветствовать друг друга... Уходя, они должны убрать материалы и инструменты, коими пользовались, а если работали допоздна, то потушить лампы»; «строго воспрещается развлекать товарищей жестами или как-то иначе»; надлежит «вести себя благочестиво и скромно»; всякий, кто отсутствовал больше пяти минут, не предупредив господина Оппенгейма, будет отмечен «как отсутствовавший полдня»; а чтобы удостовериться в том, что ничто не забыто в этом подробном перечне, воспрещается делать «все, что может повредить господину Оппенгейму и его компаньонам»[349]. Цех, школа, армия подчинены целой системе микронаказаний, учитывающей: время (опоздания, отсутствие, перерывы в работе), деятельность (невнимательность, небрежность, отсутствие рвения), поведение (невежливость, непослушание), речь (болтовня, дерзость), тело («некорректная» поза, неподобающие жесты, неопрятность) и сексуальность (нескромность, непристойность). При этом в качестве наказания используется целый ряд детально продуманных процедур: от легкого физического наказания до небольших лишений и унижений. Требуется, с одной стороны, сделать наказуемым малейшее отклонение от корректного поведения, а с другой – придать карательную функцию на вид нейтральным элементам дисциплинарной машины: тогда в случае необходимости все будет служить наказанию малейшего нарушения, а каждый субъект окажется захваченным наказуемой и наказывающей всеобщностью. «Под словом “наказание” надо понимать все, что может заставить детей осознать совершённый ими проступок, все, что может унижить их и смутить... некоторая холодность, безразличие, дознание, оскорбление, отстранение от выполнения обязанностей»[350].

Но дисциплина приносит с собой специфическую манеру наказания, которая является не просто уменьшенной моделью суда. Что характерно, дисциплинарное наказание представляет собой нечто совершенно несоизмеримое правилу, отклонение. Наказанию подвергается вся неопределенная область несоответствующего поведения: солдат совершает «проступок» всякий раз, когда не дотягивает до требуемого уровня; «проступок» ученика есть не только мелкое нарушение, но и неспособность выполнить задание. Устав прусской пехоты требовал, чтобы солдат, не научившийся правильно обращаться с ружьем, был наказан «со всей строгостью». Сходным образом, «если ученик не выучил катехизис, заданный накануне, надо добиться, чтобы он безошибочно запомнил его и повторил на следующий день; или же заставить его слушать, стоя на коленях и скрестив руки; или принудить его к раскаянию как-то иначе».

Порядок, который должны поддерживать дисциплинарные наказания, носит смешанный характер. Это «искусственный» порядок, четко установленный в законе, программе или уставе. Но также порядок, определяемый естественными и наблюдаемыми процессами: продолжительность ученичества, время, необходимое для выполнения упражнения, уровень подготовки определяются закономерностью, которая тоже является правилом. В христианских школах с детьми никогда не проводят «уроков», которых они не способны выдержать, поскольку иначе они ни чему не научатся; и все же длительность каждой стадии обучения определяется правилом, и ученика, не сумевшего по результатам трех экзаменов перейти на следующий уровень, на глазах у всех помещают на скамью «невежд». В дисциплинарном режиме наказание имеет двойную область значения – юридическую и естественную.

Дисциплинарное наказание должно бороться с отступлениями. Следовательно, оно должно быть по существу исправительным. Наряду с наказаниями, заимствованными непосредственно из судебной модели (штрафы, плеть, карцер), дисциплинарные системы отдают предпочтение наказанию-упражнению – более интенсивному научению, многократно повторяемому уроку. Согласно уставу пехоты 1766 г., младшие капралы, «выказавшие отсутствие прилежания или нежелание учиться, должны быть разжалованы в рядовые» и могут вернуть себе прежний ранг только после новых упражнений и нового экзамена. По словам Ж. Б. де Ла Салля, «из всех наказаний самыми честными с точки зрения учителя, наиболее выигрышными для родителей являются дополнительные задания»; они позволяют «черпать в самих ошибках детей средства, позволяющие добиться успехов путем исправления их недостатков»; тем, например, «кто не написал всего, что требовалось, или не потрудился сделать это хорошо, можно дать какое-то дополнительное задание: что-то написать или заучить наизусть»[351]. Дисциплинарное наказание, в основном, сходно по форме с обязанностью, это не столько месть за погранный закон, сколько возобновление, двойное утверждение закона. Так что ожидаемое от наказания исправительное воздействие вызывает покаяние и раскаяние лишь случайно; оно достигается непосредственно механикой муштры. Наказывать – значит принуждать к упражнению.

В дисциплине наказание является лишь одним из элементов двойной системы поощрения – наказания. И именно эта система действует в процессе муштры и исправления. Учитель «должен по возможности не применять наказание, напротив, чаще поощрять, чем наказывать. Ведь лентяя, как и прилежного, больше вдохновляет желание снискать похвалу, чем страх перед наказанием. Потому было бы весьма полезно, если бы учитель, прежде чем прибегнуть к вынужденному наказанию, уже завоевал сердце ребенка»[352]. Этот механизм из двух элементов делает возможными ряд операций, характерных для дисциплинарного наказания. Во-первых, оценку поведения и достижений на основании двух противоположных ценностей: добра и зла. Вместо простого выделения области запретного, которое практикуется в уголовном правосудии, мы имеем здесь распределение между положительным и отрицательным полюсами; все поведение попадает в поле, простирающееся между хорошими и плохими отметками и баллами. Кроме того, можно исчислить это поле и выработать соответствующую цифровую экономию. Непрерывно обновляемая карательная бухгалтерия позволяет составить баланс наказаний для каждого ученика. В школьном «правосудии» эта система, существовавшая в рудиментарной форме в армии и мастерских, получила весьма значительное развитие. Братия в христианских школах организовали настоящую микроэкономия привилегий и дополнительных заданий: «Поощрения могут использоваться учениками, для того чтобы избавиться от наказаний... Например, ученик получил дополнительное задание – переписать четыре или шесть вопросов по катехизису; он может быть прощен, если у него есть несколько поощрительных баллов; учитель должен установить, сколько баллов стоит каждый вопрос... Поскольку поощрение состоит из определенного числа баллов, учитель располагает поощрением меньшей стоимости, служащим своего рода сдачей. Например, ученик получает дополнительное задание, от которого его освобождают шесть баллов, и он заслужил поощрение в десять баллов. Предъявив его учителю, он получает обратно четыре балла и т. д.»[353] И путем игры в подсчет, посредством циркуляции авансов и долгов, а также постоянного прибавления и вычитания баллов дисциплинарные аппараты устанавливают сравнительную иерархию «хороших» и «дурных» субъектов. Путем этой микроэкономии постоянного наказания происходит дифференциация – не действий, но самих индивидов, их характера, возможностей, уровня развития или достоинства. Точно оценивая поступки, дисциплина определяет «истинную цену» индивидов; применяемое ею наказание вписывается в цикл познания индивидов.

Распределение по рангам или ступеням играет двойную роль: оно определяет отклонения от правила, устанавливает иерархию качеств, знаний и навыков; но оно также наказывает и вознаграждает. Карательная сторона приведения в порядок и упорядочивающая сторона наказания. Дисциплина вознаграждает простой игрой присуждений, делая возможным достижение более высоких рангов и должностей; она наказывает, понижая в чине и разжалуя. Ранг сам по себе служит наградой или наказанием. В Военной школе была разработана сложная система «почетной» классификации. Классификация доводилась до общего сведения через незначительные различия в униформе, и более или менее благородные или постыдные наказания соответствовали, как знак поощрения или позора,

таким образом распределяемым рангам. Классификационное карательное распределение осуществлялось через короткие промежутки времени по докладам офицеров, преподавателей и их помощников без учета возраста или чина, на основании «моральных качеств учеников» и «их всем известного поведения». Первый класс – «очень хорошие ученики» – отмечался серебряным эполетом; они удостоивались чести считаться «исключительно воинскими частями», а потому имели право на военные наказания (гауптвахта, а в серьезных случаях – тюрьма). Второй класс – «хорошие» – носил шелковый пунцово-серебряный эполет; они могли быть наказаны гауптвахтой и тюрьмой, а также карцером и стоянием на коленях. Класс «посредственных» имел право на красный суконный эполет; к перечисленным наказаниям здесь добавлялась, если было необходимо, грубая холщовая роба. Последний класс, «плохие», отмечался коричневым суконным эполетом; «ученики этого класса подвергаются всем наказаниям, принятым в Школе, а также всем тем, кои представляются целесообразными, включая даже одиночное заключение в темном карцере». Одно время существовал также «позорный» класс, для которого были составлены особые правила: «принадлежащие к этому классу должны быть всегда отделены от других и облачены во власяницу». Поскольку место ученика определяется только заслугами и поведением, «ученики двух последних классов могут тешить себя надеждой перейти в первые и носить соответствующие знаки отличия, если все признают их достойными благодаря улучшению их поведения и успехам; а ученики первых классов переходят в низшие, если начинают лениться и если наберется много откликов не в их пользу, показывающих, что они больше не заслуживают отличий и преимуществ первых классов...». Карательная классификация имеет тенденцию к исчезновению. «Позорный» класс существует лишь для того, чтобы исчезнуть: «для того чтобы судить о степени перевоспитания учеников “позорного” класса, которые стали вести себя хорошо», надо перевести их в другие классы и вернуть им знаки отличия; но при этом они должны находиться вместе с товарищами по «позорному» классу во время еды и на переменах. Если они поведут себя плохо, то останутся в «позорном» классе, и «покинут его окончательно, если их поведение сочтут удовлетворительным в новом классе и подразделении»[354]. Итак, иерархизирующее наказание имеет двойной результат: оно распределяет учеников в зависимости от их способностей и поведения, т. е. с учетом их возможного использования по окончании школы, и оказывает на них постоянное давление, чтобы привести их к одной и той же модели, принудить их всех к «субординации, послушанию, внимательному отношению к учебе и упражнениям, к неукоснительному выполнению своих обязанностей и всех пунктов дисциплины». Чтобы они все были похожи друг на друга.

Короче говоря, искусство наказывать в режиме дисциплинарной власти не направлено ни на заглаживание вины, ни даже, в точном смысле, на репрессию. Оно приводит в действие пять совершенно различных операций. Оно соотносит действия, успехи и поведение индивида с целым, являющимся одновременно полем сравнения, пространством дифференциации и принципом правила, которому надлежит следовать. Оно отличает индивидов друг от друга и исходя из общего правила – правила, служащего неким минимальным порогом, неким средним, которому надо соответствовать, оптимумом, к которому надо стремиться. Оно количественно измеряет и выстраивает в иерархическом порядке, в зависимости от ценности, способности, уровень развития, «природу» индивидов. Оно устанавливает посредством этой «ценностной» мерки степень соответствия, которая должна быть достигнута. И наконец, оно намечает предел, который должен задавать различие

сравнительно со всеми прочими различиями: внешнюю границу ненормального («позорный» класс Военной школы). Вечное наказание, пронизывающее все точки и контролирующее каждое мгновение в дисциплинарных институтах, сравнивает, различает, иерархически упорядочивает, приводит к однородности, исключает. Одним словом, нормализует.

Следовательно, каждым своим пунктом оно противостоит судебному наказанию. Главная функция судебного наказания – указывать на свод законов и текстов, которые необходимо помнить, а не на совокупность наблюдаемых явлений; оно действует не посредством дифференциации индивидов, а путем спецификации поступков в соответствии с рядом общих категорий; не посредством установления иерархии, а куда проще – путем применения бинарного противопоставления дозволенного и запрещенного; не приводя к однородности, а вынося приговор и тем самым устанавливая непреложный раздел. Дисциплинарные механизмы выделили «наказание согласно норме», не сводимое в своих принципах и функционировании к традиционному наказанию согласно закону. Маленький суд, постоянно заседающий в зданиях дисциплины и принимающий иногда театральную форму большого судебного аппарата, не должен обмануть нас: он не переносит (за исключением немногих формальных пережитков) механизмы уголовного правосудия в ткань повседневной жизни. Во всяком случае, не в этом состоит его главная роль. Дисциплины создали – опираясь на целый ряд очень древних методов – новое функционирование наказания, и именно оно постепенно захватило огромный внешний аппарат, который теперь воспроизводит его то сдержанно, то иронично. Юридическо-антропологическое функционирование, обнаруживающееся во всей истории современного наказания, коренится не в наложении гуманитарных наук на уголовное правосудие и не в требованиях, присущих этой новой рациональности или гуманизму, который она приносит; оно коренится в дисциплинарной технике, вводящей эти новые механизмы нормализующего наказания.

Через дисциплины проявляется власть Нормы. Является ли она новым законом современного общества? Лучше сказать, что начиная с XVIII века эта власть соединилась с прочими властями – Закона, Слова и Текста, Традиции, – навязывая им новые разграничения. Нормальное становится принципом принуждения в обучении с введением стандартизированного образования и возникновением «нормальных школ»[355]. Оно становится таковым в попытке организовать национальный медицинский цех и больничную систему, руководствующиеся общими нормами здоровья. Оно проникает в стандартизацию промышленных процессов и изделий[356]. Подобно надзору, и вместе с ним нормализация становится одним из главных инструментов власти в конце классического века. Ведь знаки, некогда свидетельствовавшие о статусе, привилегиях, принадлежности к чему-то, все больше заменяются – или по крайней мере дополняются – целым рядом степеней нормальности, свидетельствующих о принадлежности к однородному общественному телу, но также играющих некоторую роль в классификации, иерархизации и распределении рангов. В каком-то смысле власть нормализации насаждает однородность; но она индивидуализирует, поскольку позволяет измерять отклонения, определять уровни, фиксировать особенности и делать полезными различия, приспособляя их друг к другу. Вполне понятно, как власть нормы действует в рамках системы формального равенства, поскольку внутри однородности, являющейся правилом, норма вводит в качестве полезного императива и результата измерения весь диапазон индивидуальных различий.

Экзамен

Экзамен сочетает техники надзирающей иерархии и нормализующей санкции. Экзамен – нормализующий взгляд, надзор, позволяющий квалифицировать, классифицировать и наказывать. Он делает индивидов видимыми, благодаря чему их можно дифференцировать и наказывать. Поэтому во всех дисциплинарных механизмах экзамен – совершенный ритуал. В нем соединяются церемония власти и форма опыта, применение силы и установление истины. В центре дисциплинарных процедур экзамен демонстрирует подчинение тех, кто воспринимается как объекты, и объективацию тех, кто подчиняется. Взаимоналожение отношений власти и отношений знания обретает в экзамене весь свой видимый блеск. Однако экзамен – еще одна инновация классического века, не исследованная историками наук. Пишут историю опытов со слепорожденными, с детьми, выросшими среди волков, с находящимися под воздействием гипноза. Но кто напишет более общую, более размытую, но и более определенную историю «экзамена» – его ритуалов, методов, действующих лиц и их ролей, игры вопросов и ответов, систем выставления отметок и классификации? Ведь в этой тонкой технике можно увидеть всю область познания, весь тип власти. Часто говорят об идеологии, которую – то сдержанно, то громогласно – несут в себе гуманитарные «науки». Но разве сама их технология, эта крошечная рабочая схема, получившая столь широкое распространение (от психиатрии до педагогики, от диагностики болезней до найма рабочей силы), этот знакомый метод экзамена не претворяет в едином механизме отношения власти, которые делают возможными извлечение и образование знания? Это происходит не просто на уровне сознания, представлений и того, что человек (как он полагает) знает, но и на уровне того, что делает возможным знание, которое преобразуется в политический захват.

Одним из основных условий эпистемологического «раскрытия» медицины в конце XVIII века была организация больницы как «экзаменующего» аппарата. Ритуал обхода являлся самой очевидной его формой. В XVII веке приходящий врач добавлял свой осмотр ко многим другим формам контроля – религиозной, административной и т. д.; он практически не участвовал в повседневном управлении больницей. Постепенно осмотр становится более регулярным, более тщательным, а главное – более продолжительным: он становится все более важной частью работы больницы. В 1661 г. врач центральной парижской больницы должен был делать один обход в день; в 1687 г. «кандидат» на место врача проверял во второй половине дня состояние некоторых тяжелобольных. Правила XVIII столетия устанавливали расписание обходов и их продолжительность (минимум два часа) и предписывали сменную работу врачей, которая обеспечивала бы проведение обходов ежедневно, «даже в Пасхальное воскресенье». Наконец, в 1771 г. учреждается должность дежурного врача, в чьи обязанности входит «оказание необходимой помощи не только днем, но и ночью, в промежутках между обходами приходящего врача»[357]. Прежние нерегулярные и быстрые осмотры превращаются в ежедневное обследование, помещающее пациента в ситуацию почти непрерывного экзамена. Отсюда два последствия: во внутренней иерархии врач, бывший ранее внешним элементом, начинает брать верх над религиозным персоналом и отводит ему четко определенную, но подчиненную роль в технике экзамена; затем появляется категория «медицинские сестры»; между тем сама больница, бывшая некогда едва ли не богадельней, становится местом формирования и

коррекции знания: она демонстрирует полное изменение отношений власти и формирования знания. Хорошо «дисциплинированная» больница становится «домом» медицинской «дисциплины»; последняя отказывается теперь от своего текстового характера и опирается не столько на традицию авторитетных текстов, сколько на область объектов, вечно предлагаемых для экзамена.

Школа тоже становится своеобразным аппаратом непрерывного экзамена, который дублирует процесс обучения на всем его протяжении. Он постепенно перестает быть состязанием, позволяющим ученикам померяться силами, все больше превращаясь в постоянное сравнение всех и вся, позволяющее и измерять, и оценивать. Братья в христианских школах хотели, чтобы их ученики сдавали экзамены каждый день: в понедельник – по орфографии, во вторник – по арифметике, в среду – по закону Божию утром и по письму вечером и т. д. Кроме того, ежемесячная контрольная работа позволяла отобрать тех, кто готов держать экзамен перед инспектором[358]. С 1775 г. в парижской Высшей Инженерно-дорожной школе было 16 экзаменов в год: 3 – по математике, 3 – по архитектуре, 3 – по черчению, 2 – по письму, 1 – по обтесыванию камней, 1 – по стилю, 1 – по съемке местности, 1 – по пользованию уровнем и 1 – по замеру пропорций зданий[359]. Экзамен не просто знаменовал конец обучения, но был одним из его постоянных факторов; он был вплетен в обучение посредством постоянно повторяемого ритуала власти. Экзамен позволял учителю, передавая знания, превращать учеников в целую область познания. В то время как испытание, которым завершалось ученичество в цеховой традиции, подтверждало полученный навык – итоговая «работа» удостоверяла состоявшуюся передачу знания, – экзамен в школе был постоянным обменом знаниями: он гарантировал переход знаний от учителя к ученику, но и извлекал из ученика знание, предназначенное и приготовленное для учителя. Школа становится местом педагогических исследований. И точно так же, как процедура больничного «экзамена» сделала возможным эпистемологическое «раскрытие» медицины, век «экзаменующей» школы знаменовал возникновение педагогики как науки. Век инспекций и бесконечно повторяемых маневров в армии также знаменовал развитие богатейшего тактического знания, нашедшего применение в эпоху наполеоновских войн.

Экзамен вводит целый механизм, связывающий определенный тип формирования знания с определенной формой отправления власти.

1

Экзамен преобразует экономию видимости в отправление власти. Традиционно власть есть то, что видимо, что показывается, проявляется; и, что парадоксально, она черпает свою силу в том самом движении, посредством которого проявляет эту силу. Те, на кого она воздействует, могут оставаться в тени: они получают свет лишь от той части власти, что им выделяется, или от скользнувшего по ним отблеска власти. Дисциплинарная власть, с другой стороны, отправляется в силу ее невидимости; в то же время она навязывает тем, кого подчиняет, принцип принудительной видимости. В дисциплине именно субъекты должны быть видимыми. Их видимость удостоверяет накиннутую на них узду власти. Именно факт постоянной видимости, возможности быть увиденным удерживает дисциплинированного индивида в подчинении. А экзамен есть метод, с помощью которого

власть, вместо того чтобы производить знаки своей мощи, вместо того чтобы помечать подданных своим клеймом, втягивает их в механизм объективации. В этом пространстве господства дисциплинарная власть по существу проявляет свою мощь, главным образом посредством упорядочения объектов. Экзамен – своеобразная церемония объективации.

Прежде роль политической церемонии заключалась в том, чтобы обеспечить избыточное и все же подчиненное правилам проявление власти. Она была зрелищным выражением мощи, некоей «тратой», преувеличенной и кодифицированной, в которой власть пополняла свою силу. В той или иной мере она всегда была связана с триумфом. Торжественное явление монарха несло в себе нечто от освящения, коронации, победного возвращения; даже пышные похоронные церемонии проходили со всем блеском отправляемой власти. Дисциплина, однако, вырабатывает собственные церемонии. Это уже не триумф, а смотр, «парад», демонстрационная форма экзамена. В ней «подданные» представлены как «объекты» наблюдения для власти, проявляющейся единственно в своем взгляде. Они не воспринимают непосредственно образ власти суверена: они только ощущают ее последствия – так сказать, копию – на своих телах, которые стали совершенно прозрачными и послушными. 15 марта 1666 г. Людовик XIV провел свой первый военный парад: 18 000 солдат и офицеров, «одна из наиболее зрелищных акций его царствования», которая должна была «повергнуть в смятение всю Европу». Несколько лет спустя была отчеканена памятная медаль[360]. На ней начертано: «Disciplina militaris restitua»[361] – и легенда: «Prolusio ad victorias»[362]. Справа – король с жезлом, выставив вперед правую ногу, командует парадом. Слева – несколько теряющихся вдаль шеренг солдат, изображенных с лица. Они подняли правые руки до уровня плеча и держат ружья точно по вертикали; каждый слегка выставил вперед правую ногу, левая ступня повернута наружу. На земле пересекающиеся линии образуют под ногами солдат большие квадраты, служащие ориентирами для различных фаз и позиций смотра. На заднем плане виден дворец в классическом стиле. Колонны дворца продолжают колонны, образованные солдатами с поднятыми ружьями, точно так же плиточный пол продолжает линии на земле. А над балюстрадой, увенчивающей здание, – статуи, представляющие танцующие фигуры: волнистые линии, округлые жесты, хитоны. Мрамор повторяет движения, воплощающие принцип гармонического единства. Солдаты с другой стороны замерли в единообразно повторяемом строе шеренг и линий: тактическое единство. Архитектурный порядок, раскрывающийся наверху в фигурах танца, навязывает свои правила и геометрию дисциплинированным людям на земле. Колонны власти. «Превосходно, – заметил однажды о полке великий князь Михаил после часового парада. – Вот только они дышат»[363].

Будем рассматривать эту медаль как свидетельство о моменте, когда парадоксальным, но значимым образом ярчайшее проявление верховной власти государя совпадает с возникновением ритуалов, характерных для дисциплинарной власти. Почти невыносимая видимость монарха превращается в неизбежную видимость подданных. И именно это обращение видимости в практическое действие дисциплин должно обеспечивать отправление власти даже в ее самых глубинных проявлениях. Мы входим в век бесконечного экзамена и принудительной объективации.

Экзамен вводит индивидуальность в документальное поле. Экзамен оставляет после себя детальный архив, повествующий о телах и днях. Располагая индивидов в поле надзора, он охватывает их также сетью записей; он помещает их в толщу улавливающих и фиксирующих документов. Экзаменационные процедуры непременно сопровождалась системой интенсивной записи и накопления документов. «Власть записи» сформировалась как существенно важная деталь механизмов дисциплины. Во многом она повторяет традиционные методы административной документации, хотя и использует особые техники и важные нововведения. Некоторые из них касаются методов идентификации и описания. Проблема идентификации и описания встает в армии, где требуется разыскивать дезертиров, избегать повторного рекрутирования одних и тех же людей, корректировать фиктивные сводки, представленные офицерами, знать служебные обязанности и ценность каждого, устанавливать точный баланс без вести пропавших и убитых. Эта проблема решается в больницах, где требуется устанавливать личность больных, изгонять симулянтов, проследить эволюцию болезней, проверять эффективность лечения, вести учет аналогичных случаев и фиксировать начало эпидемий. Эта проблема встает в учебных заведениях, где определяют знания каждого индивида, его уровень и способности, применение, какое он может получить по окончании учебы: «Реестр, с которым можно справиться когда нужно и где нужно, позволяет узнать нравы детей, их успехи с точки зрения благочестия, в катехизисе, письме и чтении за время обучения в школе, их дух и мысли с момента поступления в школу»[364]. Отсюда – возникновение целого ряда кодов дисциплинарной индивидуальности, позволяющих записывать посредством приведения к однородной форме индивидуальные черты, выявленные в ходе экзамена: физический код примет, медицинский код симптомов, школьный или военный код поведения и успехов. Эти коды были еще очень несовершенны с точки зрения качества и количества, но они знаменовали первую стадию «формализации» индивидуального в рамках отношений власти.

Другие новшества дисциплинарной записи связаны с соотношением этих элементов, накоплением документов, распределением их по сериям, организацией полей сравнения, позволяющих классифицировать, устанавливать категории, выводить среднее арифметическое, фиксировать норму. Больницы XVIII столетия, в частности, были большими лабораториями, где применялись методы записи и документирования. Ведение журналов, их спецификация, способы переноса информации из одних журналов в другие, передача их во время обходов, сопоставление на регулярных совещаниях врачей и управляющих, сообщение содержащихся в них данных в центральные органы (в больницу или главное бюро богоугодных заведений), учет болезней, средств лечения и смертей на уровне больницы, города и даже государства в целом – все было подчинено дисциплинарному режиму. Среди важнейших условий хорошей медицинской «дисциплины» следует упомянуть методы записи, позволяющие интегрировать индивидуальные данные в суммирующие системы таким образом, чтобы они не затерялись; чтобы каждый индивид мог быть отражен в сводном журнале и, наоборот, чтобы все данные индивидуального экзамена могли влиять на суммирующие подсчеты.

Благодаря аппарату записи экзамен открывает две взаимосвязанные возможности: образование индивида как объекта описания и анализа, но осуществляемое не для того чтобы свести его к «видовым» чертам (как это делают натуралисты по отношению к живым существам), а для того чтобы утвердить его в его индивидуальных чертах, в его конкретной

эволюции, в его собственных способностях в рамках постоянного корпуса знания; и построение сравнительной системы, позволяющей измерять общие явления, описывать группы и коллективные факты, исчислять различия между индивидами, распределять их в данном «населении».

Эти маленькие техники записи, регистрации, организации полей сравнения, разнесения фактов по столбцам и таблицам, столь привычные нам сегодня, имели решающее значение в эпистемологическом «раскрытии» наук об индивиде. Безусловно, справедливо было бы поставить аристотелевский вопрос: возможна ли и законна ли наука об индивиде? Вероятно, великая проблема требует и великого решения. Но есть маленькая историческая проблема – проблема возникновения в конце XVIII века того, что, вообще говоря, можно было бы назвать «клиническими» науками; проблема введения индивида (уже не вида) в поле познания; проблема введения индивидуального описания, перекрестного опроса, анамнеза, «дела» в общий оборот научного дискурса. Несомненно, за этим простым фактическим вопросом должен последовать ответ, лишенный величия: надо присмотреться к процедурам записи и регистрации, к механизмам экзамена, формированию дисциплинарных механизмов и нового типа власти над телами. Является ли это рождением наук о человеке? Вероятно, его надо искать в этих малоизвестных архивах, где берет начало современная игра принуждения тел, жестов, поведения.

3

Экзамен со всеми его техниками документации превращает каждого индивида в конкретный «случай». Случай представляет собой одновременно и объект для отрасли знания, и объект для ветви власти. Отныне случай (в отличие от случая в казуистике или юриспруденции) не есть совокупность обстоятельств, определяющая действие и способная видоизменить применение правила; случай есть индивид, поскольку его можно описать, оценить, измерить, сравнить с другими в самой его индивидуальности; но также индивид, которого требуется муштровать или исправлять, классифицировать, приводить к норме, исключать и т. д.

Долгое время обычная индивидуальность – индивидуальность простого человека – оставалась ниже порога описания. Быть рассматриваемым, наблюдаемым, детально исследуемым и сопровождаемым изо дня в день непрерывной записью составляло привилегию. Создаваемые при жизни человека хроника, жизнеописание, историография составляли часть ритуалов его власти. Дисциплинарные методы полностью изменили это отношение, понизили порог, начиная с которого индивидуальность подлежит описанию, и превратили описание в средство контроля и метод господства. Описание теперь не памятник для будущего, а документ для возможного использования. И эта новая приложимость описания особенно заметна в строгой дисциплинарной среде: ребенок, больной, сумасшедший, осужденный все чаще (начиная с XVIII века) и по кривой, определяемой дисциплинарными механизмами, становятся объектами индивидуальных описаний и биографических повествований. Превращение реальных жизней в запись более не является процедурой создания героев; оно оказывается процедурой объективации и подчинения. Тщательно прослеживаемая жизнь умственно больных или преступников относится – как прежде летопись жизни королей или похождения знаменитых бандитов – к

определенной политической функции записи; но совсем в другой технике власти.

Экзамен как установление – одновременно ритуальное и «научное» – индивидуальных различий, как прищипливание каждого индивида в его собственной особенности (в противоположность церемонии, где статус, происхождение, привилегии и должность манифестируются со всей зрелищностью подобающих им знаков отличия) ясно свидетельствует о возникновении новой модальности власти, при которой каждый индивид получает в качестве своего статуса собственную индивидуальность и при которой благодаря своему статусу он связывается с качествами, размерами, отклонениями, «знаками», которые характеризуют его и делают «случаем».

Наконец, экзамен находится в центре процедур, образующих индивида как проявление и объект власти, как проявление и объект знания. Именно экзамен, комбинируя иерархический надзор и нормализующее наказание, обеспечивает важнейшие дисциплинарные функции распределения и классификации, максимальное выжимание сил и экономию времени, непрерывное генетическое накопление, оптимальную комбинацию способностей, а тем самым – формирование клеточной, органической, генетической и комбинированной индивидуальности. Благодаря экзамену «ритуализируются» те дисциплины, которые можно охарактеризовать одним словом: они суть модальность власти, учитывающей индивидуальные отличия.

* * *

Дисциплины отмечают момент, когда происходит оборот, так сказать, политической оси индивидуализации. В некоторых обществах (феодальный строй лишь одно из них) индивидуализация наиболее развита там, где отправляется власть государя, и в высших эшелонах власти. Чем больше у человека власти или привилегий, тем больше он выделяется как индивид в ритуалах, дискурсах и пластических представлениях. «Имя» и генеалогия, помещающие индивида в толщу родственных связей, деяния, которые показывают превосходство в силе и увековечиваются в литературных повествованиях, церемонии, самим своим устройством демонстрирующие отношения власти, памятники или дары, обеспечивающие жизнь после смерти, пышность и чрезмерность расходов, множественные пересекающиеся верноподданнические и сюзеренные связи – все это процедуры «восходящей» индивидуализации. В дисциплинарном режиме, напротив, индивидуализация является «нисходящей»: чем более анонимной и функциональной становится власть, тем больше индивидуализируются те, над кем она отправляется; она отправляется через надзор, а не церемонии; через наблюдение, а не мемориальные повествования; через основанные на «норме» сравнительные измерения, а не генеалогии, ведущиеся от предков; через «отклонения», а не подвиги. В системе дисциплины ребенок индивидуализируется больше, чем взрослый, больной – больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник – больше, чем нормальный и законопослушный. В каждом упомянутом случае все индивидуализирующие механизмы нашей цивилизации направлены именно на первого; если же надо индивидуализировать здорового, нормального и законопослушного взрослого, всегда спрашивают: много ли осталось в нем от ребенка, какое тайное безумие он несет в себе, какое серьезное преступление мечтал совершить. Все науки, формы анализа и

практики, имеющие в своем названии корень «психо», происходят из этого исторического переворачивания процедур индивидуализации. Момент перехода от историко-ритуальных механизмов формирования индивидуальности к научно-дисциплинарным механизмам, когда нормальное взяло верх над наследственным, а измерение – над статусом (заменив тем самым индивидуальность человека, которого помнят, индивидуальностью человека исчисляемого), момент, когда стали возможны науки о человеке, есть момент, когда были осуществлены новая технология власти и новая политическая анатомия тела. И если с начала средних веков по сей день «приключение» есть повествование об индивидуальности, переход от эпоса к роману, от благородного деяния к сокровенному своеобразие, от долгих скитаний к внутренним поискам детства, от битв к фантазиям, то это тоже вписывается в формирование дисциплинарного общества. Приключения нашего детства теперь находят выражение не в *le bon petit Henry*[365], а в невзгодах маленького Ганса; «Роман о Розе» пишет сегодня Мэри Барнс; вместо Ланцелота мы имеем президента Шребера[366].

Часто говорят, что модель общества, составными элементами которого являются индивиды, заимствована из абстрактных юридических форм договора и обмена. С этой точки зрения товарное общество представляется как договорное объединение отдельных юридических субъектов. Возможно, это так. Во всяком случае, политическая теория XVII–XVIII столетий, видимо, часто следует этой схеме. Но не надо забывать, что в ту же эпоху существовала техника конституирования индивидов как коррелятов власти и знания. Несомненно, индивид есть вымышленный атом «идеологического» представления об обществе; но он есть также реальность, созданная специфической технологией власти, которую я назвал «дисциплиной». Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «подавляет», «цензурует», «извлекает», «маскирует», «скрывает». На самом деле, власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно получить об индивиде, принадлежат к ее продукции.

Нет ли некоторого преувеличения в выведении такой власти из мелких хитростей дисциплины? Как могут они иметь столь масштабные последствия?

Глава 3. Паноптизм

Ознакомимся с опубликованным в конце XVII века положением о мерах, принимаемых в том случае, когда городу угрожает эпидемия чумы[367].

Во-первых, строгое пространственное распределение: закрытие города и ближайших окрестностей, запрещение покидать город под страхом смерти, уничтожение всех бродячих животных; разделение города на отдельные четко очерченные кварталы, каждый из которых управляется «интендантом». Каждая улица находится под контролем синдика; покинув ее, он будет приговорен к смерти. В назначенный день всем приказывают запереться в домах и запрещают выходить под страхом смерти. Синдик собственноручно запирает дверь каждого дома снаружи, уносит ключи и передает их интенданту квартала, который хранит их до окончания карантина. Каждая семья должна запастись провизией. Однако для вина и хлеба между улицей и домами оборудуются деревянные желоба, по которым каждый человек получает свой рацион без малейшего контакта с поставщиками и другими горожанами. Мясо, рыба и пряности доставляются в дома в корзинах, переправляемых по канатам с помощью шкивов. Если выйти из дому совершенно необходимо, то выходят по очереди, дабы избежать встреч. По улицам ходят только интенданты, синдики и часовые. Между зараженными домами от трупа к трупу бродят «вороны», чья смерть никого не волнует: «бедолаги, которые переносят больных, закапывают умерших, убирают улицы и выполняют много презренных и мерзких обязанностей». Разбитое на квадраты, неподвижное, застывшее пространство. Каждый индивид закреплен на своем месте. А если он уходит, то рискует лишиться жизни, заразиться или быть наказанным.

Непрерывное инспектирование. Неусыпный надзор повсюду: «многочисленное ополчение под командованием опытных офицеров и почтенных горожан», сторожевые посты у ворот, ратуши и во всех кварталах, для того чтобы обеспечить немедленное повиновение людей и абсолютную власть магистратов, а «также для предотвращения любых беспорядков, краж и хищений». У всех городских ворот – наблюдательные посты, на углу каждой улицы – часовые. Ежедневно интендант приходит в порученный ему квартал, осведомляется, выполняют ли свои задачи синдики и не жалуются ли на них жители, «наблюдающие за их действиями». Ежедневно синдик проходит вверенную ему улицу, останавливается перед каждым домом: заставляет всех жителей предстать в окнах (те, чьи жилища смотрят во двор, специально прорубают окна на улицу, и в них должны появляться только они сами), вызывает каждого по имени и осведомляется о состоянии здоровья – «жители обязаны отвечать правду под страхом смерти»; если кто-либо не появляется в окне, синдик обязан осведомиться о причинах: «Так он без особого труда выясняет, не укрывают ли умерших или больных». Каждый заперт в своей клетке, каждый – у своего окна, откликается на свое имя и показывается, когда этого требуют, – великий смотр живых и мертвых.

Надзор основывается на системе постоянной регистрации: синдики докладывают интендантам, интенданты – городским старшинам или мэру. С начала «закрытия» города составляется список всех находящихся в нем жителей. В него заносятся «фамилия, имя и пол (независимо от сословия)». Один экземпляр передается квартальному интенданту, второй – в канцелярию ратуши, по третьему синдик проводит ежедневную пере кличку. Все замеченное во время обходов (смерти, болезни, жалобы, нарушения) записывается и докладывается интендантам и представителям власти. Последние полностью контролируют лечение и назначают ответственного врача. Никакой другой врач не имеет права лечить, никакой аптекарь не может изготавливать лекарства, никакой исповедник не смеет посетить больного, не получив письменного уведомления ответственного врача о необходимости «препятствовать сокрытию заразных больных и их лечению без ведома должностных лиц». Регистрация всякой патологии ведется постоянно и централизованно. Отношение каждого индивида к собственной болезни и смерти проходит через представителей власти, проводимую ими регистрацию, выносимые ими решения.

Через пять-шесть дней после начала карантина проводится поочередная дезинфекция домов. Всех обитателей заставляют выйти. В каждой комнате поднимают или подвешивают «мебель и утварь», комнату поливают ароматической жидкостью и, тщательно законопатив окна и двери и залив замочные скважины воском, поджигают ее. Пока она горит, дом остается запертым. При входе и выходе дезинфекторов обыскивают «в присутствии жителей, чтобы убедиться, что они ничего не принесли и не унесли». Четыре часа спустя жителям разрешают вернуться в дом.

Замкнутое, сегментированное пространство, где просматривается каждая точка, где индивиды водворены на четко определенные места, где каждое движение контролируется, где все события регистрируются, где непрерывно ведущаяся запись связывает центр с периферией, где власть действует безраздельно по неизменной иерархической модели, где каждый индивид постоянно локализован, где его изучают и относят к живым существам, больным или умершим, – все это образует компактную модель дисциплинарного механизма. Чуму встречают порядком. Порядок должен препятствовать возможному смещению, вызываемому болезнью, которая передается при смещении тел, или злом, возрастающим, когда страх и смерть сметают запреты. Порядок «отводит» каждому индивиду его место, его тело, болезнь и смерть, его благосостояние посредством вездесущей и всеведущей власти, которая равномерно и непрерывно подразделяется вплоть до конечного определения индивида: того, что характеризует его, принадлежит ему, происходит с ним. Против чумы, которая есть смещение, дисциплина вводит в действие свою власть, власть анализа. Чума обросла литературным вымыслом, представляющим ее как празднество: приостановка законов, снятие запретов, безумства, смещение тел без различия, сбрасывание масок, забвение индивидами своей законной идентичности и облика, по которым их узнавали, возможность проявления истины совсем иного рода. Но есть также политический, прямо противоположный образ: чума – не общий праздник, а строгие границы; не нарушение законов, а проникновение правил даже в мельчайшие детали повседневной жизни посредством совершенной иерархии, обеспечивающей капиллярное функционирование власти; не надеваемые и сбрасываемые маски, а присвоение каждому индивиду его «истинного» имени, «истинного» места, «истинного» тела и «истинной» болезни. Чума как форма одновременно реального и воображаемого беспорядка имеет

своим медицинским и политическим коррелятом дисциплину. За дисциплинарными механизмами можно увидеть неизгладимый след, оставленный в памяти «заразой»: чумой, бунтами, преступлениями, бродяжничеством, дезертирством, людьми, которые появляются и исчезают, живут и умирают без всякого порядка.

Если верно, что проказа породила ритуалы исключения, до некоторой степени предопределившие модель и общую форму Великого Заключения, то чума породила дисциплинарные схемы. Она вызывает не крупное бинарное разделение между двумя группами людей, а множественные подразделения, индивидуализирующие распределения, глубинную структуру надзора и контроля, интенсификацию и разветвление власти. Прокаженного вовлекают в практику отвержения и изгнания-отгораживания; он предоставляется собственной судьбе в массе, которую бесполезно дифференцировать. Те же, кто болен чумой, оказываются поглощенными детализированным тактическим подразделением, где индивидуальные различия суть ограничивающие следствия власти, которая умножает, артикулирует и подразделяет сама себя. Полное заключение – с одной стороны, выверенная муштра – с другой. Прокаженный – и его отделение; чума – и вместе с ней подразделения. Изгнание прокаженного и домашний арест больного чумой – разные политические мечты. Первая – мечта о чистой общине, вторая – о дисциплинированном обществе. Два способа отправления власти над людьми, контроля над их отношениями, устранения опасных смешений. Пораженный чумой город, насквозь пронизанный иерархией, надзором, наблюдением, записью; город, обездвиженный расширившейся властью, которая в той или иной форме воздействует на все индивидуальные тела, – вот утопия совершенно управляемого города. Чума (по крайней мере ее возможное распространение) – испытание, позволяющее умозрительно определить отправление дисциплинарной власти. Для того чтобы заставить права и законы функционировать в соответствии с чистой теорией, юристы представляли себя в естественном состоянии; для того чтобы увидеть действие совершенных дисциплин, правители воображали состояние чумы. В основании дисциплинарных схем лежит образ чумы, воплощающей все формы смешения и беспорядка, точно так же как в основании схем исключения – образ прокаженного, лишённого всяких человеческих контактов.

Итак, перед нами различные, но отнюдь не несовместимые схемы. Мы видим, что они постепенно сближаются. И особенность XIX столетия состоит в том, что оно применило к пространству исключения, символический обитатель которого – прокаженный (а реальное население – нищие, бродяги, умалишенные, нарушители порядка), технику власти, присущую дисциплинарному распределению. Обращаться с «прокаженными» как с «чумными», переносить детальную сегментацию дисциплины на расплывчатое пространство заключения, применять к нему методы аналитического распределения, присущие власти; индивидуализировать исключенного, но при этом использовать процедуры индивидуализации для «клеймения» исключения, – вот что постоянно осуществлялось дисциплинарной властью с начала XIX века в психиатрической лечебнице, тюрьме, исправительном доме, заведении для несовершеннолетних правонарушителей и, до некоторой степени, в больнице. Вообще говоря, все эти учреждения для контроля над индивидом действовали в двойном режиме: бинарного разделения и клеймения (сумасшедший – не сумасшедший, опасный – безобидный, нормальный – ненормальный), а также принудительного и дифференцирующего распределения (кто он, где должен

находиться, как его охарактеризовать, как узнать, как осуществить индивидуальный постоянный надзор за ним и т. д.). С одной стороны, с прокаженными обращаются как с больными чумой, к исключенным применяют тактику индивидуализирующей дисциплины. С другой стороны, универсальность дисциплинарного контроля позволяет выделить и пометить «прокаженного», использовать против него дуалистические механизмы исключения. Постоянное разделение на нормальное и ненормальное, которому подвергается каждый индивид, возвращает нас в наше время, когда бинарное клеймение и изгнание прокаженного применяются совсем к другим объектам. Существование целого ряда методов и институтов (предназначенных для выявления и исправления ненормальных, для контроля над ними) вводит в игру дисциплинарные механизмы, порожденные страхом перед чумой. Все механизмы власти, которые даже сегодня возводят вокруг ненормального индивида, чтобы пометить и изменить его, строятся из этих двух форм, являющихся их отдаленными предшественницами.

* * *

«Паноптикон» Бентама – архитектурный образ этой композиции. Принцип его нам известен: по периметру – здание в форме кольца. В центре – башня. В башне – широкие окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по длине во всю толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь (против соответствующего окна башни), а другое – наружу (таким образом вся камера насквозь просматривается). Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту контржурного света из башни, стоящей прямо против света, можно наблюдать четко вырисовывающиеся фигурки пленников в камерах периферийного «кольцевого» здания. Сколько камер-клеток, столько и театриков одного актера, причем каждый актер одинок, абсолютно индивидуализирован и постоянно видим. Паноптическое устройство организует пространственные единицы, позволяя постоянно видеть их и немедленно распознавать. Короче говоря, его принцип противоположен принципу темницы. Вернее, из трех функций карцера – заточать, лишать света и скрывать – сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Яркий свет и взгляд надзирателя пленят лучше, чем тьма, которая в конечном счете защищает заключенного. Видимость – ловушка.

Прежде всего, такое устройство делало возможным – в качестве «отрицательного» результата – избежать образования тех скученных, кишачих и ревущих масс, которые населяли места заключения; их изображал Гойя и описывал Говард. Каждый индивид находится на своем месте, надежно заперт в камере, откуда его видит надзиратель; но внутренние стены мешают обитателю камеры установить контакт с соседями. Его видят, но он не видит. Он является объектом информации, но ни когда – субъектом коммуникации. Расположение его камеры напротив центральной башни обеспечивает его продольную видимость; но перегородки внутри кольца, эти отдельные камеры, предполагают поперечную невидимость. И эта невидимость гарантирует порядок. Если в камерах сидят преступники, то нет опасности заговора, попытки коллективного побега, планов новых, будущих преступлений; если больные – нет опасности распространения заразы; если

умалишенные – нет риска взаимного насилия; если школьники, то исключено списывание, гвалт, болтовня, пустая трата времени; если рабочие – нет драк, краж, компаний и развлечений, замедляющих работу, понижающих ее качество или приводящих к несчастным случаям. Толпа – плотная масса, место множественных обменов, схождения индивидуальностей и коллективных проявлений – устраняется и заменяется собранием отделенных индивидуальностей. С точки зрения охранника, толпа заменяется исчислимым и контролируемым множеством, с точки зрения заключенных – изоляцией и поднадзорным одиночеством[368].

Отсюда – основная цель паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти. Устроить таким образом, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если он осуществляется с перерывами, чтобы совершенство власти делало необязательным ее действительное отправление и чтобы архитектурный аппарат паноптикона был машиной, создающей и поддерживающей отношение власти независимо от человека, который ее отправляет, – короче говоря, чтобы заключенные были вовлечены в ситуацию власти, носителями которой они сами же являются. Для достижения этого результата постоянного надзора за заключенным одновременно слишком много и слишком мало: слишком мало, поскольку важно лишь то, чтобы заключенный знал, что за ним наблюдают; слишком много – поскольку нет нужды в постоянном надзоре. Поэтому Бентам сформулировал принцип, согласно которому власть должна быть видимой и недоступной для проверки. Видимой: заключенный всегда должен иметь перед глазами длинную тень центральной башни, откуда за ним наблюдают. Недоступной для проверки: заключенный никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в данный конкретный момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение всегда возможно. Для того чтобы сделать присутствие или отсутствие надзирателя неустановимым и чтобы заключенные в своих камерах не могли видеть даже его тень или очертания, Бентам предусмотрел не только решетчатые ставни на окнах центрального зала наблюдения, но и внутренние перегородки, пересекающие этот зал под прямым углом. Между секторами – не двери, а зигзагообразные перегородки: ведь малейший шум, проблеск света в дверном проеме могут выдать присутствие охранника[369]. Паноптикон – машина для разбиения пары «видеть – быть видимым»: человек в кольцеобразном здании полностью видим, но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит все, но сам невидим[370].

Это важный механизм, ведь он автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности. Принцип власти заключается не столько в человеке, сколько в определенном, продуманном распределении тел, поверхностей, света и взглядов; в расстановке, внутренние механизмы которой производят отношение, вовлекающее индивидов. Церемонии, ритуалы, знаки, посредством которых суверен проявлял «избыток власти», теперь бесполезны. Действуют механизмы, поддерживающие асимметрию, дисбаланс, различие. Следовательно, не имеет значения, кто отправляет власть. Любой индивид, выбранный почти наугад, может запустить машину: в отсутствие начальника – члены его семьи, его друзья, посетители и даже слуги[371]. Точно так же неважно, каков движущий мотив: нескромное любопытство, хитрость ребенка, жажда знания философа, желающего осмотреть этот музей человеческой природы, или злость тех, кто находит удовольствие в выслеживании и наказании. Чем больше этих анонимных и сменяющихся наблюдателей, тем больше заключенный рискует

быть застигнутым врасплох, тем острее становится тревожное сознание поднадзорности. Паноптикон – чудодейственная машина, которая, как бы ее ни использовали, производит однородные воздействия власти.

Реальное подчинение механически рождается из вымышленного отношения. Так что нет нужды прибегать к насильственным средствам принуждения преступника к хорошему поведению, сумасшедшего – к спокойствию, рабочего – к труду, школьника – к прилежанию, больного – к соблюдению предписаний и рецептов. Бентам восхищался тем, что паноптические заведения могут быть столь облегченными: здесь нет ни решеток, ни цепей, ни увесистых замков. Достаточно четких перегородок и правильно расположенных проемов. Громоздкость старых «домов безопасности» крепостной архитектуры можно заменить простой, экономичной геометрией «домов надежности». Эффективность власти, ее принуждающая сила в каком-то смысле перешли на другую сторону – на сторону поверхности ее приложения. Тот, кто помещен в поле видимости и знает об этом, принимает на себя ответственность за принуждения власти; он допускает их спонтанную игру на самом себе; он впитывает отношение власти, в котором одновременно играет обе роли; он становится началом собственного подчинения. Благодаря этому факту внешняя власть может уменьшить свою физическую тяжесть, она склоняется к бестелесному воздействию. И чем ближе она к этому пределу, тем более постоянными, глубинными и стабильными становятся ее проявления и последствия: вечная победа достигается без малейшего физического столкновения и всегда предрешена заранее.

Бентам не говорит, вдохновил ли его на создание проекта паноптикона зверинец, построенный Ле Во[372] в Версале, первый зверинец, элементы которого не были разбросаны по парку (как это делалось традиционно)[373]. В центре находился восьмиугольный павильон, где на втором этаже была единственная комната – салон короля. Со всех сторон салона располагались широкие окна, выходящие на семь клеток с животными (с восьмой стороны был вход). Во времена Бентама этот зверинец уже не существовал. Но в плане паноптикона ощущается то же стремление к индивидуализирующему наблюдению, типизации и классификации, к аналитическому обустройству пространства. Паноптикон – королевский зверинец: зверь заменен человеком, индивидуальное распределение – специфическим объединением, король – механизмами не приметной власти. В чем-то паноптикон решает задачи натуралиста. Он позволяет устанавливать различия: среди больных – наблюдать симптомы каждого больного индивида, не опасаясь того, что теснота в палатах, миазмы, распространение заразы смажут клиническую картину; среди школьников – следить за успехами каждого ученика (исключая подражание или списывание), оценивать способности и характеры, производить жесткие классификации и отличать (ориентируясь на нормальное развитие) «лень и упорство» от «неизлечимой глупости»; среди рабочих – оценивать способности каждого, сравнивать время, затраченное ими на выполнение конкретной работы, а в случае поденной оплаты – исчислять их зарплаты[374].

Это с одной стороны. С другой стороны, паноптикон – лаборатория; он может использоваться как машина для проведения экспериментов, для изменения поведения, для муштры или исправления индивидов. Для проведения опытов с лекарствами и отслеживания их воздействия. Для экспериментального применения различных наказаний к

заклученным в соответствии с их преступлениями и характером и изыскания наиболее эффективных наказаний. Для одновременного обучения рабочих различным технологиям, для выяснения, которая из них лучшая. Для проведения педагогических экспериментов – в частности, нового возвращения к знаменитой проблеме воспитания в изоляции. Можно посмотреть, что произойдет с используемыми в этих экспериментах сиротами на шестнадцатом или восемнадцатом году жизни при знакомстве с другими юношами или девушками. Можно проверить, прав ли Гельвеций, полагавший, что всякий человек может обучиться всему. Можно проследить «генеалогию всякой достойной внимания идеи». Можно воспитывать детей в различных системах мышления, внушая некоторым из них, что дважды два не равно четырем или что луна – сыр, а потом в возрасте двадцати – двадцати пяти лет собрать их вместе; тогда начнутся дискуссии, куда более продуктивные, чем проповеди или лекции, на которые затрачивается столько денег; по крайней мере появится возможность сделать открытия в области метафизики. Паноптикон – привилегированное место для экспериментов над людьми и для анализа, с полной достоверностью показывающего, какие преобразования могут быть их результатами. Паноптикон обеспечивает даже средство контроля за собственными механизмами. Из центральной башни начальник может шпионить за выполняющими его распоряжения служащими: фельдшерами, врачами, мастерами, учителями, надзирателями. Он может постоянно судить об их действиях, изменять их поведение, навязывать им методы, которые считает наилучшими. Даже сам начальник может стать объектом наблюдения. Инспектор, неожиданно появившийся в центре паноптикона, с первого взгляда поймет (и ничто от него не укроется), как действует все заведение. Да и, в любом случае, разве начальник, встроенный в сердцевину этого архитектурного сооружения, не становится его неотъемлемой частью? Некомпетентный врач, давший распространиться заразе, некомпетентный директор тюрьмы или руководитель мастерской падут первыми жертвами эпидемии или бунта. «Всеми средствами, какие я сумел придумать, – говорит хозяин паноптикона, – я связал свою судьбу с судьбами заключенных»[375]. Паноптикон действует как своего рода лаборатория власти. Благодаря обеспечиваемым им механизмам наблюдения он выигрывает в эффективности и способности воздействовать на поведение людей; знание следует за успехами власти, открывающей новые объекты познания на всех поверхностях, где она отправляется.

* * *

Охваченный чумой город, паноптическое заведение – различия между ними существенно важны. Они свидетельствуют о произошедших за полтора столетия преобразованиях в дисциплинарной программе. В первом случае налицо исключительная ситуация: против чудовищного зла восстает власть; она делает себя вездесущей и видимой; она изобретает новые механизмы; она разгораживает, обездвиживает, разделяет; на какое-то время возводит сразу контргород и совершенное общество; она устанавливает некое идеальное функционирование, которое, однако, в конечном счете сводится (как и противостоящее ему зло) к простому дуализму жизни и смерти: все, что движется, несет смерть, потому движущееся убивают. Паноптикон, с другой стороны, следует понимать как обобщаемую модель функционирования; как способ определения отношений власти в терминах повседневной жизни людей. Несомненно, Бентам рассматривает его как обособленный

институт, замкнутый на самом себе. Утопии, абсолютно замкнутые на самих себе, совершенно обычны. По сравнению с разрушенными тюрьмами, переполненными и напичканными орудиями пыток, какими мы видим их на гравюрах Пиранези[376], паноптикон представляет собой жестокую, остроумно устроенную клетку. Тот факт, что он произвел, и даже в наше время, столь многочисленные вариации, будь то на бумаге или в действительности, свидетельствует о его чрезвычайной притягательности для умов в течение почти двух столетий. Но не следует понимать паноптикон как плод мечты: он – диаграмма механизма власти, сведенной к ее идеальной форме; ее действие (если отвлечься от преград, сопротивления и трения) должно быть представлено как чистая архитектурная и оптическая система: по сути дела, паноптикон – форма политической технологии, которая может и должна быть отделена от всякого конкретного применения.

Паноптикон многофункционален; он служит для исправления заключенных, но и для лечения больных, обучения школьников, ограничения активности умалишенных, надзора за рабочими и принуждения к труду нищих и лентяев. Он представляет собой некий тип размещения тел в пространстве, распределения индивидов относительно друг друга, иерархической организации, расположения центров и каналов власти, определения ее орудий и методов вмешательства, применимых в больницах, на фабриках, в школах и тюрьмах. Везде, где приходится иметь дело с множественностью индивидов, которым надо навязать определенное задание или конкретную форму поведения, может быть использована паноптическая схема. Она применима – с необходимыми изменениями – ко «всем заведениям, где на сравнительно небольшом пространстве требуется держать под надзором некоторое количество людей»[377].

В каждом из своих применений паноптическая схема позволяет совершенствовать отправление власти, предусматривая для этого несколько путей. Она уменьшает число представителей власти, одновременно увеличивая число людей, подлежащих ее воздействию. Она делает возможным вмешательство власти в любой момент, и ее постоянное давление действует даже раньше, чем совершены проступки, ошибки или преступления. В условиях паноптикона сила власти заключается в том, что она никогда не вмешивается, а отправляется самопроизвольно и бесшумно, она образует механизм, чьи действия вытекают одно из другого. Не располагая никакими материальными инструментами, кроме архитектуры и геометрии, власть воздействует непосредственно на индивидов, она «дает сознанию власть над сознанием». Паноптическая схема усиливает любой аппарат власти: она обеспечивает экономию (оборудования, персонала, времени) и эффективность (благодаря своему превентивному характеру, непрерывному действию и автоматизму). Она есть способ достижения власти «в прежде беспримерном количестве», «великий и новый инструмент правления... его огромное превосходство заключается в большой силе, какую он способен придать любому институту, к которому его сочтут целесообразным применить»[378].

Паноптикон – род «колумбова яйца» в сфере политического. И впрямь, он может быть интегрирован в любую функцию (образование, медицинское лечение, производство, наказание); он может усилить эту функцию, тесно переплетаясь с ней; он может образовать смешанный механизм, где отношения власти (и знания) точно и в мельчайших деталях приспособлены к процессам, подлежащим надзору; он может установить прямую

пропорцию между «избыточной властью» и «избыточным продуктом». Словом, он обеспечивает такое устройство, где отправление власти не добавляется извне (как жесткое принуждение или тяжесть) к функциям, в которых он участвует, но присутствует в них столь тонко и ловко, что повышает их эффективность, одновременно укрепляя свои точки сцепления. Паноптическое устройство – не просто шарнир или теплообменник между механизмом власти и функцией, но способ заставить отношения власти действовать в некой функции, а функцию – действовать через отношения власти. Паноптическая модель способна «перестроить мораль, сохранить здоровье, укрепить промышленность, распространить образование, снизить государственные затраты, поставить экономику на твердую почву, как бы на скалу, и распутать, а не расцечь гордиев узел законов о бедных, и все это – благодаря простой архитектурной идее»[379].

Кроме того, устройство этой машины таково, что ее замкнутая структура не исключает постоянного внешнего участия: мы видели, что любой человек может прийти в центральную башню, осуществить надзор и при этом ясно понять принцип действия механизма надзора. В сущности, всякое паноптическое заведение (даже такое в высшей степени закрытое, как тюрьма) вполне может подвергаться таким нерегулярным, но вместе с тем постоянным инспекциям – не только со стороны назначенных контролеров, но и со стороны публики: любой член общества имеет право прийти и собственными глазами увидеть, как действуют школы, больницы, заводы и тюрьмы. Стало быть, нет опасности, что рост власти, обеспечиваемый паноптической машиной, приведет к тирании; это дисциплинарное устройство будет контролироваться демократически, поскольку оно будет постоянно открыто «великому судебному комитету всего мира»[380]. Паноптикон, устроенный столь хитроумно, что позволяет наблюдателю наблюдать сразу за множеством различных индивидов, позволяет также каждому прийти и наблюдать за любым наблюдателем. Машина видения была некогда своего рода темной комнатой, откуда осуществлялась слежка; она стала прозрачным сооружением, где отправление власти может контролироваться всем обществом.

Паноптическая схема, именно как таковая и во всех своих свойствах, была предназначена для распространения по всему телу общества, была призвана стать некой обобщенной функцией. Город, зараженный чумой, – исключительная дисциплинарная модель: совершенная, но абсолютно насильственная; болезни, несшей смерть, власть противопоставляла вечную угрозу смерти; жизнь в городе была сведена к простейшему выражению; в противостоянии могуществу смерти она становилась детальным осуществлением права меча. Паноптикон, напротив, призван расширять и усиливать; если он организует власть, если он стремится сделать ее более экономичной и эффективной, то не ради самой власти и не для немедленного спасения общества, которому что-то угрожает; его цель в том, чтобы укрепить социальные силы, – поднять производство, развить экономику, распространить просвещение и повысить уровень общественной нравственности; наращивать и преумножать.

Как усилить власть таким образом, чтобы, совершенно не мешая прогрессу, не подавляя его тяжестью своих правил и регулятивов, она реально способствовала ему? Какое средство усиления власти могло бы одновременно поднять производство? Как может власть, наращивая свои силы, укреплять и силы общества, вместо того чтобы отнимать или

сковывать их? Решение этой проблемы в рамках паноптической схемы заключается в том, что продуктивное увеличение власти может быть гарантировано только в том случае, если, с одной стороны, она непрерывно отправляется в самых глубинах общества, в его тончайших частицах, и если, с другой стороны, она действует вне тех внезапных, буйных и прерывистых форм, что характерны для отправления власти суверена. Тело короля (с его странным материальным и мифическим присутствием, с той силой, которую он разворачивает сам или передает немногим другим лицам) прямо противоположно этой новой физике власти, представленной паноптизмом. Вотчина паноптизма, напротив, – вся нижняя область, область иррегулярных тел с их деталями, многочисленными движениями, разнородными силами, пространственными отношениями; здесь требуются механизмы, которые анализируют распределения, нарушения, ряды и комбинации и используют инструменты, которые делают видимым, записывают, различают и сравнивают: физика существующей в форме отношений и множественной власти, достигающей максимальной интенсивности не в личности короля, а в телах, индивидуализируемых посредством этих отношений. В теории Бентам определяет новый способ анализа тела общества и пронизывающих его отношений власти; на практике он определяет процедуру подчинения тел и сил, которая должна увеличить полезность власти без вреда для интересов государя. Паноптизм – общий принцип новой «политической анатомии», объектом и целью которой являются не отношения верховной власти, а отношения дисциплины.

Знаменитая прозрачная круглая клетка с высокой центральной башней, всесильной и знающей, была, с точки зрения Бентама, образом совершенного дисциплинарного института; но он хотел также показать, как можно «разомкнуть» дисциплины и дать им действовать широким, рассеянным, многообразным и поливалентным образом во всем теле общества. Эти дисциплины, разработанные классическим веком в особых, относительно замкнутых местах (казармах, коллежах, крупных мастерских) и предназначавшиеся тогда лишь для ограниченного и временного использования в масштабах охваченного чумой города, Бентам мечтал превратить в сеть устройств, вездесущих и недремлющих, пронизывающих все общество, не оставляя пространственных лакун и временных промежутков. Паноптическое устройство предоставляет формулу для этого обобщения. Оно задает, на уровне элементарного и легко передаваемого механизма, программу базового, низового функционирования общества, вдоль и поперек пересеченного дисциплинарными механизмами.

* * *

Итак, два образа дисциплины. На одном конце – дисциплина-блокада, замкнутый институт, расположенный по краям общества и нацеленный на выполнение исключительно «отрицательных» функций, таких, как нераспространение болезни, разрыв сообщения, приостановка времени. На другом, в паноптической схеме, – дисциплина-механизм: функциональное устройство, призванное улучшить отправление власти – сделать его легче, быстрее и эффективнее; план тонких принуждений для будущего общества. Движение от одного проекта к другому, от схемы дисциплины в отдельном исключительном случае к схеме повсеместного надзора зиждется на историческом преобразовании: на постепенном распространении механизмов дисциплины на протяжении XVII–XVIII столетий, их

расползании по всему телу общества и образовании того, что, вообще говоря, можно назвать дисциплинарным обществом.

Повсеместное распространение дисциплины – что подтверждает Бентамова физика власти – произошло на протяжении классического века. Увеличение числа дисциплинарных заведений, сеть которых начинает покрывать все большую площадь, а главное, занимать все менее второстепенное место, свидетельствует об этом: то, что было островком, неким привилегированным местом, мерой, диктуемой обстоятельствами, или всего лишь особой моделью, становится общей формулой. Правила благочестивых протестантских армий Вильгельма Оранского или Густава Адольфа преобразуются в уставы всех армий Европы. Образцовые коллежи иезуитов или школы Батенкура или Демя, вслед за школой Штурма[381], задают образец общих форм школьной дисциплины. Устройство флотских и военных госпиталей служит схемой полной реорганизации больниц в XVIII веке.

Но распространение дисциплинарных институтов было, несомненно, лишь наиболее видимым аспектом других, более глубоких процессов.

1

Функциональная инверсия дисциплин. Поначалу дисциплины должны были в основном нейтрализовать опасности, выявлять бесполезные или беспокойные группы населения и избавлять от неудобств, порождаемых слишком многолюдными сборищами. Теперь они должны (ибо становятся способны к этому) играть положительную роль – увеличивать возможную полезность индивидов. Военная дисциплина – уже не просто средство предотвращения мародерства, дезертирства или неповиновения войск, но базовая техника, обеспечивающая существование армии не как случайного сброда, а как единства, сила которого возрастает именно благодаря самому этому единству; дисциплина повышает ловкость каждого солдата, координирует навыки солдат, ускоряет движения, умножает огневую мощь, расширяет фронты атаки, не снижая ее силы, увеличивает обороноспособность и т. п. Фабричная дисциплина, оставаясь способом укрепления уважения уставов, подчинения власти хозяев и мастеров, предотвращает воровство и разброд, наращивает навыки, скорость, производительность, а значит, увеличивает прибыль; она еще оказывает моральное воздействие на поведение, но все более ориентирует действия на достижение результатов, приучает тела к механизмам, а силы – к экономии. Когда в XVII веке были основаны провинциальные и христианские начальные школы, их необходимость обосновывали главным образом отрицательными доводами: бедняки, не имея средств для воспитания детей, оставляли их «в неведении относительно их обязанностей; зарабатывая на жизнь тяжким трудом и получив дурное воспитание, они не способны дать детям хорошее воспитание, которого не получили сами»; это порождает три главных изъяна: незнание Бога, лень (и сопровождающие ее пьянство, пороки, мелкие кражи, разбойничество) и появление толп нищих, всегда готовых вызвать общественные беспорядки и «до дна исчерпать фонды центральной больницы в Париже»[382]. Но в начале Революции одной из целей начального образования стало «укрепление», «развитие тела», подготовка ребенка «к будущему физическому труду», формирование «верного глаза, твердой руки и надлежащих навыков»[383]. Дисциплины все больше служат техниками изготовления полезных индивидов. Отсюда их выдвигание с маргинальных позиций на

заворках общества и отделение от форм исключения или искупления, заточения или затворничества. Отсюда постепенная утрата ими родства с религиозными правилами и запретами. Отсюда также их укоренение в самых важных, центральных и продуктивных секторах общества. Они присоединяются к некоторым существенно важным функциям: производству, передаче знаний, распространению трудовых навыков, военному аппарату. Отсюда и двоякая тенденция, развивающаяся на протяжении XVIII века: к увеличению числа дисциплинарных институтов и дисциплинированию существующих аппаратов.

2

«Роение» дисциплинарных механизмов. В то время как, с одной стороны, дисциплинарные заведения множатся, их механизмы проявляют явную тенденцию к пересечению институциональных границ, к выходу из закрытых крепостей, где они некогда действовали, к движению в «свободном» состоянии; цельные компактные дисциплины дробятся на гибкие методы контроля, которые можно передавать и адаптировать. Иногда закрытые аппараты добавляют к своей внутренней и специфической функции роль внешнего надзора, развивая вокруг себя целое поле побочных проверок. Так, христианская школа не только формирует послушных детей – она делает возможным надзор за родителями, получение информации об их образе жизни, источниках дохода, набожности и нравах. Школа образует маленькие социальные обсерватории, позволяющие проникать даже в мир взрослых и осуществлять регулярный контроль над ними: плохое поведение ребенка или его отсутствие на занятиях служат (по мнению Демиа) законным предлогом для опроса соседей (особенно если есть основания полагать, что семья утаит правду), а затем и самих родителей, дабы выяснить, знают ли они катехизис и молитвы, полны ли решимости искоренить пороки своих детей, сколько кроватей в их доме и каковы условия для сна; визит может завершиться подачей милостыни, дарением иконы или дополнительных кроватей[384]. Больница тоже все больше становится базой для медицинского надзора за населением за ее стенами; после того как в 1772 г. сгорела Отель-Дье, многие требовали, чтобы большие заведения, столь тяжеловесные и беспорядочные, были заменены больницами поменьше; последние должны были принимать больных из данного квартала, но также собирать информацию, отслеживать эндемические и эпидемические явления, открывать диспансеры, давать советы жителям и оповещать власти о санитарном состоянии района[385].

Происходит распространение дисциплинарных процедур, и не только в форме закрытых заведений, но и как очагов контроля, разбросанных по всему обществу. Религиозные группы и благотворительные организации долго исполняли эту функцию «дисциплинирования» населения. Начиная с Контрреформации и до филантропии Июльской монархии инициатив такого рода становится все больше. Цели их были религиозными (обращение и наставление), экономическими (помощь и побуждение к труду) или политическими (борьба с недовольством и волнениями). В качестве примера достаточно вспомнить правила парижских приходских благотворительных обществ. Обслуживаемая ими территория подразделяется на кварталы и кантоны, распределяемые между членами общества. Ответственные должны регулярно обходить свои кварталы. «Они должны стараться искоренить злачные места, табачные лавки, бильярдные, игорные дома, предотвратить публичные скандалы, богохульство, безбожие и прочие беспорядки, о коих им станет известно». Они должны также посещать бедных в индивидуальном порядке. В правилах

уточняется, какие сведения они должны собирать: о наличии постоянного жилья, знании молитв, посещении церкви для исповеди и причастия, владении ремеслом, нравственности (и «не впали ли они в бедность по собственной вине»). Наконец, «надлежит с помощью наводящих вопросов вызнать, как они ведут себя в семье, живут ли в согласии между собой и с соседями, воспитывают ли детей в страхе Божьем... не укладывают ли взрослых детей разного пола вместе или к себе в постель, нет ли в их семьях распущенности и разврата, особенно по отношению к взрослым дочерям. Если возникнет сомнение в том, состоят ли они в законном браке, то надо потребовать, чтобы предъявили свидетельство о браке»[386].

3

Государственный контроль над дисциплинарными механизмами. В Англии за общественной дисциплиной долгое время следили отдельные религиозные группы[387]. Во Франции эта роль частично выполнялась приходскими организациями и благотворительными ассоциациями, другая же (и, несомненно, самая важная) ее часть очень скоро перешла к полицейскому аппарату.

Организация централизованной полиции долго расценивалась (причем даже современниками) как самое прямое выражение абсолютной власти короля. Суверен желал иметь «собственного чиновника, которому мог бы непосредственно доверить свои повеления, поручения, намерения и вверить исполнение приказов и указов о заточении без суда и следствия»[388]. В самом деле, местные полицейские управления и главное парижское управление, которому они подчинялись, взяв на себя исполнение некоторых уже существовавших функций (розыск преступников, городской надзор, экономический и политический контроль), преобразовали их в единую строгую административную машину: «Все силовые и информационные векторы в округе сходятся в начальнике главного полицейского управления... Именно он заставляет вращаться все эти колесики, которые вместе создают порядок и гармонию. Результаты его управления не оставляют желать лучшего, даже по сравнению с движением небесных тел»[389].

Но хотя полиция как институт действительно являлась государственным аппаратом и, безусловно, была непосредственно связана с центром политической власти, тип отправляемой полицией власти, механизмы ее действия и точки ее приложения специфичны. Этот аппарат должен быть сопряженным со всем телом общества, и не только в крайних пределах, которые он соединяет, но и в мельчайших деталях, ответственность за которые он на себя берет. Полицейская власть должна распространяться «на все», однако это «все» – не целое государства или королевства как видимого и невидимого тела монарха, но пыль событий, действий, поведения, мнений – «все, что происходит»[390]; предмет полицейского интереса – те «вещи, кои всякий час случиться могут», те «мелочи», о которых говорила Екатерина II в Великом наказе[391]. Полиция осуществляет безграничный контроль, который в идеале должен добраться до простейшего зернышка, до самого мимолетного явления в теле общества. «Ведомство судей и полицейских чиновников имеет огромное значение. Объекты, которые оно охватывает, в известном смысле неопределенны. Их можно воспринять лишь при достаточно детальном рассмотрении»[392]: «бесконечно малое» политической власти.

И для того чтобы действовать, эта власть должна получить инструмент постоянного, исчерпывающего, вездесущего надзора, способного все делать видимым, при этом оставаясь невидимым. Надзор должен быть как бы безликим взглядом, преобразующим все тело общества в поле восприятия: тысячи глаз, следящих повсюду, мобильное, вечно напряженное внимание, протяженная иерархическая сеть, которая в Париже, по докладу Ле Мэра, включала в себя 48 комиссаров и 20 инспекторов; затем регулярно оплачиваемых «наблюдателей», «шпикив»-поденщиков, или тайных агентов, далее – осведомителей (получавших вознаграждение за сделанную работу) и, наконец, проституток. И это непрерывное наблюдение должно суммироваться в рапортах и журналах; на всем протяжении XVIII века огромный полицейский текст все больше опутывает общество посредством сложно организованной документации[393]. И в отличие от методов судебной или административной записи, в полицейских документах регистрируются формы поведения, установки, возможности, подозрения – ведется постоянный учет поведения индивидов.

Но надо отметить, что, хотя полицейский надзор сосредоточен всецело «в руках короля», он действует не в одном направлении. По сути, это система с двойным входом: она должна, в обход аппарата правосудия, отвечать непосредственно по желаниям короля, но также реагировать на ходатайства снизу. В подавляющем большинстве случаев знаменитые королевские *lettres de cachet*, указы о заточении без суда и следствия, которые долгое время служили символом королевского произвола и политически дисквалифицировали практику задержания, были результатом ходатайств родственников, хозяев, местной знати, соседей, приходских священников; они должны были карать заключением всю «инфрапреступность», наказывать за все, что может быть наказано: за беспорядки, волнения, неповиновение, плохое поведение; все эти вещи Леду[394] стремился изгнать из своего архитектурно совершенного города и именовал «преступлениями, совершенными по причине отсутствия надзора». Короче говоря, полиция в XVIII веке добавляет к своей роли помощницы юстиции в преследовании преступников и инструмента для политического контроля над заговорами, оппозиционными движениями или бунтами дисциплинарную функцию. Это сложная функция: она соединяет абсолютную власть монарха с низшими уровнями власти, рассеянными в обществе; она раскидывает между многочисленными и многообразными замкнутыми дисциплинарными институтами (фабриками, армиями, школами) промежуточную сеть, действующую там, где они не могут действовать, и дисциплинирующую недисциплинарные пространства; но она заполняет бреши, соединяет их между собой, защищает своей вооруженной силой: промежуточная дисциплина и метадисциплина. «Посредством умной полиции суверен приучает народ к порядку и повиновению»[395].

Организация полицейского аппарата в XVIII веке санкционирует повсеместное распространение дисциплин, которые становятся сопропяженными с самим государством. Понятно, почему полиция – хотя и была очевиднейшим образом связана со всем, что в королевской власти выходило за рамки нормального правосудия, – оказала столь слабое сопротивление переустройству судебной власти. И понятно, почему она не перестает навязывать судебной власти свои прерогативы, причем со всевозрастающей силой, вплоть до наших дней. Несомненно, потому, что она светская рука судебного. Но также и потому, что она в значительно большей степени, чем судебный институт, составляет одно целое

(благодаря своему распространению и механизмам) с обществом дисциплинарного типа. И все же неверно было бы полагать, что дисциплинарные функции были конфискованы и раз и навсегда поглощены государственным аппаратом.

«Дисциплина» не может отождествляться ни с институтом, ни с аппаратом; она – тип власти, модальность ее отправления, содержащая целую совокупность инструментов, методов, уровней приложения и мишеней; она есть «физика» или «анатомия» власти, некая технология. И ответственность за ее претворение могут брать на себя либо «специализированные» заведения (тюрьмы или исправительные дома в XIX веке), либо заведения, использующие ее в качестве основного инструмента для достижения конкретной цели (воспитательные дома, больницы), либо уже существующие инстанции, которые используют ее как способ усиления или реорганизации своих внутренних механизмов власти (когда-нибудь мы покажем, как, начиная с классического века, вобрали в себя внешние схемы – сначала школьные и военные, затем медицинские, психиатрические и психологические – и «дисциплинировались» внутрисемейные отношения, главным образом в ячейке родители – дети; семья – привилегированное место для возникновения дисциплинарного вопроса о нормальном и ненормальном), либо аппараты, возведшие дисциплину в принцип своего внутреннего функционирования (аппарат управления начиная с наполеоновской эпохи), либо, наконец, государственные аппараты, чьей главной, если не исключительной функцией является утверждение власти дисциплины над всем обществом (полиция).

В целом можно говорить, следовательно, об образовании дисциплинарного общества в этом движении, соединившем закрытые дисциплины, своего рода социальный «карантин», и бесконечно распространяемый механизм «паноптизма». Не потому, что дисциплинарная модальность власти заменила все другие, а потому, что она пропитала эти другие, иногда подрывая их, но и служа посредствующим звеном между ними, связывая их друг с другом, продолжая их, главное же – позволяя доводить действие власти до мельчайших и отдаленнейших элементов. Дисциплина обеспечивает распространение отношений власти до уровня бесконечно малых величин.

Через несколько лет после Бентама Юлиус выдал этому обществу свидетельство о рождении[396]. Юлиус заметил, что паноптизм – много больше, нежели плод архитектурной изобретательности: событие в «истории человеческого сознания». На первый взгляд он представляет собой просто решение технической проблемы, но благодаря ему возникает новый тип общества. Древность была цивилизацией зрелищ. «Делать доступным множеству людей наблюдение малого числа объектов»: такую проблему решала архитектура храмов, театров и цирков. Вместе со зрелищем главенствовали общественная жизнь, празднества, чувственная близость. В этих ритуалах, где бурлила кровь, общество черпало новые силы и образовывало на миг одно огромное тело. Новое время ставит противоположную, проблему: «Обеспечить для малого числа людей, и даже для одного человека, мгновенное обозрение большого множества». В обществе, основные элементы которого уже не община и общественная жизнь, а отдельные индивиды, с одной стороны, и государство – с другой, отношения могут быть установлены лишь в форме, диаметрально противоположной зрелищу: «Современность, постоянно растущее влияние государства, его все более глубокое вмешательство во все детали и отношения общественной жизни призваны усилить

и усовершенствовать ее гарантии, используя для достижения этой великой цели строительство и распределение сооружений, предназначенных для одновременного надзора за огромным множеством людей».

Юлиус считал завершенным историческим процессом то, что Бентам описывал как техническую программу. Наше общество – общество надзора, а не зрелища. Под поверхностным прикрытием надзора оно внедряется в глубину тел; за великой абстракцией обмена продолжается кропотливая, конкретная муштра полезных сил; каналы связи являются опорами для накопления и централизации знания; игра знаков определяет «якорные стоянки» власти; нельзя сказать, что прекрасная целостность индивида ампутируется, подавляется и искажается нашим общественным порядком, – скорее, индивид заботливо производится в нем с помощью особой техники сил и тел. Мы гораздо меньше греки, чем мы думаем. Мы находимся не на скамьях амфитеатра и не на сцене, а в паноптической машине, мы захвачены проявлениями власти, которые доводим до себя сами, поскольку служим колесиками этой машины. Вероятно, важность для исторической мифологии фигуры Наполеона объясняется ее расположением на стыке монархического, ритуального отправления власти суверена и иерархического, постоянного отправления неопределенной дисциплины. Он возвышается над всем, обнимает все одним взором, от которого не ускользает ни одна деталь, пусть даже мельчайшая: «Вы видите, что ни одна часть Империи не остается без надзора, что никакое преступление и никакой проступок не должны пройти безнаказанно и что взор гения, способный объять все вокруг, охватывает всю эту огромную машину, не упуская ни малейшей детали»[397]. В момент своего полного расцвета дисциплинарное общество еще сохраняет, благодаря императору, старый аспект власти зрелища. Как монарх, являющийся одновременно и узурпатором древнего трона, и строителем нового государства, он соединил в едином символическом предельном образе весь долгий процесс, в котором пышность королевской власти, ее необходимо зрелищные проявления угасли друг за другом в ежедневном отпадении надзора, в паноптизме, где бдительность перекрестных взглядов скоро сделала лишними и орла, и солнце[398].

* * *

Образование дисциплинарного общества связано с рядом более широких исторических процессов – экономических, юридическо-политических и, наконец, научных, – частью которых оно является.

1

Вообще говоря, можно утверждать, что дисциплины – техники, обеспечивающие упорядочение человеческих множеств. Правда, в этом нет ничего исключительного или даже характерного: всякая система власти сталкивается с той же проблемой. Но особенность дисциплины состоит в том, что она пытается ввести тактику власти, отвечающую трем критериям: отправление власти должно быть максимально дешевым (экономически – благодаря малым расходам и политически – в силу ее сдержанности, слабого внешнего выражения, относительной невидимости и незначительного сопротивления ей); действия этой социальной власти должны быть максимально сильными

и распространяться как можно дальше, без провалов и пробелов; и наконец, «экономический» рост власти должен быть связан с производительностью аппаратов (образовательных, военных, промышленных, медицинских), внутри которых она отправляется; короче говоря, необходимо одновременно увеличивать как послушность, так и полезность всех элементов социальной системы. Эта тройная цель дисциплин отвечает хорошо известной исторической ситуации. С одной стороны – сильный демографический скачок в XVIII веке; возрастание текучего народонаселения (одна из главных целей дисциплины – закреплять население на месте; она – средство против номадизма); изменение численности групп, подвергаемых контролю и манипулированию (с начала XVII века до кануна французской революции количество школьников увеличилось, как, несомненно, и число пациентов в больницах; в конце XVIII века, в мирное время, армия насчитывала свыше 200 000 человек). Другой стороной сложившейся ситуации был рост производственного аппарата, который все больше увеличивается и усложняется; он становится также все более дорогостоящим, а потому возникает проблема увеличения его рентабельности. Развитие дисциплинарных методов соответствует этим двум процессам или, вернее, возникшей потребности выправить их соотношение. Ни остаточные формы феодальной власти, ни структуры правящей монархии, ни локальные механизмы надзора, ни неустойчивая масса, образуемая переплетением их всех, не могли исполнить эту роль: им мешали неравномерное и не лишенное лакун распространение, частые конфликты, порождаемые их действием, а главное – «дороговизна» отправляемой в них власти. Она была дорогостоящей в нескольких смыслах. Потому, что, в прямом смысле, дорого обходилась государственной казне. Потому, что система взяточничества и откупных должностей косвенно, но очень сильно давила на население. Потому, что сопротивление, оказываемое власти, втягивало ее в круговорот непрерывного укрепления. Потому, что власть действовала исключительно посредством налогообложения (взимание денег или продуктов труда в форме королевского, сеньориального и церковного налогов; взимание людей или времени в форме барщины или отдачи в солдаты, заключения или ссылки бродяг). Развитие дисциплин знаменует возникновение элементарных техник власти, основанных на совершенно другой экономии: на механизмах власти, которые, вместо того чтобы «взимать», органически входят в продуктивную эффективность аппаратов, в рост этой эффективности и использование того, что она производит. Ведь старый принцип «взимание – насилие», управлявший экономией власти, дисциплины заменяют принципом «мягкость – производство – прибыль». Они – техники, позволяющие «приспособить» друг к другу человеческие множества и рост числа аппаратов производства (не только «производства» в строгом смысле слова, но и производства знания и навыков в школах, здоровья в больницах, разрушительной силы в армии).

Работая над их взаимным приспособлением, дисциплина призвана решить ряд проблем, с которыми невозможно справиться средствами прежней экономии власти. Она может сократить «бесплезность» характерных проявлений массы: ограничить то, что делает множество гораздо менее управляемым, чем единство; то, что препятствует использованию каждого из элементов множества и их суммы; все то, что отменяет преимущества, обеспечиваемые массой. Вот почему дисциплина фиксирует; задерживает или регулирует перемещения; устраняет смешения; рассеивает компактные группы индивидов, чье поведение непредсказуемо; обеспечивает исчислимые распределения. Дисциплина должна также обуздывать все силы, возникающие из самой структуры организованного множества,

нейтрализовать проявления противодействия, порождаемые этими силами и оказывающие сопротивление власти, которая стремится восторжествовать над множеством: волнения, бунты, стихийные организации, коалиции – все, что устанавливает горизонтальные связи. Отсюда понятно, почему дисциплины используют методы разгораживания и проведения вертикалей, ставят между различными элементами одного уровня максимально прочные перегородки, раскидывают плотные иерархические сети, короче говоря, противопоставляют внутренней враждебной силе множества метод построения непрерывной индивидуализирующей пирамиды. Дисциплины должны также усиливать единичную полезность каждого элемента множества, причем самыми быстрыми и дешевыми способами, используя для этого, так сказать, само множество. Отсюда использование, для извлечения из тел максимума времени и сил, общих методов, известных как распорядок дня, коллективная муштра, упражнения, глобальный и вместе с тем детальный надзор. Кроме того, дисциплины усиливают эффект полезности множеств, добиваясь, чтобы каждое из них было полезнее простой суммы своих элементов; именно для увеличения полезных свойств множества дисциплины вводят тактики распределения, обоюдного приспособления тел, жестов и ритмов, дифференцирования способностей, взаимной координации относительно аппаратов или задач. Наконец, дисциплины должны вводить в игру отношения власти (не над множеством, но в самой его толще) как можно более незаметным, как нельзя лучше связанным с другими его функциями и наименее дорогостоящим образом: этой цели отвечают анонимные инструменты власти, сопряженные с множеством, которое они систематизируют и унифицируют, – иерархический надзор, непрерывная запись и регистрация, вечная оценка и классификация. Короче говоря, дисциплины призваны заменить власть, проявляющуюся благодаря блеску тех, кто ее отправляет, властью, тайно объективирующей тех, к кому она применяется. Дисциплины должны формировать знание об индивидах, а не выставлять напоказ знаки суверенной власти. Словом, дисциплины – совокупности мелких технических изобретений, позволяющих увеличить полезность множеств путем сокращения неудобств для власти, которая, чтобы сделать их полезными, должна их контролировать. Множество, будь то цех, нация, армия или школа, достигает порога дисциплины, когда их отношение друг к другу становится благожелательным.

Если экономический взлет Запада начался с техник, которые сделали возможным накопление капитала, то можно сказать, пожалуй, что методы управления «накоплением людей» обеспечили политический отрыв от тех традиционных, ритуальных, дорогостоящих и насильственных форм власти, которые скоро вышли из употребления и сменились тонкой, рассчитанной технологией подчинения. В сущности, эти процессы – накопление людей и накопление капитала – неотделимы друг от друга; невозможно было бы решить проблему накопления людей без роста производственного аппарата, способного их содержать и использовать; напротив, техники, делающие полезным кумулятивное множество людей, ускоряют накопление капитала. На менее общем уровне технологические изменения производственного аппарата, разделение труда и выработка дисциплинарных методов были связаны очень тесными отношениями[399]. Каждый из этих процессов сделал возможным и необходимым другой, каждый послужил моделью другому. Дисциплинарная пирамида образовала маленькую клетку власти, где были предписаны и стали эффективными разделение, координация и контроль заданий, а аналитическое дробление времени, жестов и телесных сил образовало рабочую схему, которую можно было легко перенести с подчиняемых групп на производственные механизмы; массовый перенос военных методов

на организацию промышленности служит примером такого моделирования разделения труда, которое ориентировано на образец, заданный схемами власти. Но, с другой стороны, технический анализ процесса производства, его «механическое» расчленение были перенесены на рабочую силу, призванную обеспечивать этот процесс: результатом переноса стало создание дисциплинарных машин, объединяющих в целое и увеличивающих индивидуальные силы. Можно сказать, что дисциплина – единый метод, посредством которого тело с наименьшими затратами сокращается как «политическая» сила и максимально увеличивается как полезная сила. Рост капиталистической экономики породил специфическую модальность дисциплинарной власти: ее общие формулы, методы подчинения сил и тел, короче говоря, «политическая анатомия» могут работать в самых разных политических режимах, аппаратах и институтах.

2

Паноптическая модальность власти – на элементарном, техническом, чисто физическом уровне, на котором она располагается, – не зависит прямо от крупных юридическо-политических структур общества и не образует их непосредственного продолжения. Тем не менее она не является абсолютно независимой. Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к политическому господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной, кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры, которая стала возможной благодаря созданию режима парламентского, представительного типа. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной, темной стороной этих процессов. Общая юридическая форма, гарантировавшая систему в принципе равных прав, поддерживалась этими мелкими повседневными физическими механизмами, всеми теми системами микровласти, в сущности не эгалитарными и асимметричными, которые и есть дисциплины.

И хотя формально представительное правление обеспечивает, чтобы воля всех (непосредственно или опосредованно) являлась главной инстанцией верховной власти, дисциплины гарантируют в самом основании общества подчинение сил и тел. Реальные, телесные дисциплины образуют фундамент формальных, юридических свобод. Общественный договор можно рассматривать как идеальное основание права и политической власти; паноптизм представляет собой повсеместно распространенную технику принуждения. Он продолжает работать в глубине юридических структур общества, заставляя действенные механизмы власти функционировать в противоположность обретенной ею формальной структуре. Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины. Казалось бы, дисциплины не более чем инфраправо. Они доводят общие формы, установленные законом, до бесконечно малого уровня индивидуальных существований; или же выступают как методы обучения, позволяющие индивидам соответствовать этим общим требованиям. Они продолжают право того же типа, но в другом масштабе, делая его более детализированным и терпимым. Но дисциплины следует рассматривать, скорее, как род контрправа. Они исполняют совершенно определенную роль – вводят непреодолимые асимметрии и исключают взаимности. Прежде всего потому, что дисциплина образует «частную» связь между индивидами, отношение принуждения, совершенно отличное от договорного обязательства; принятие дисциплины может предписываться договором; способ, каким она насаждается, механизмы, какие она

приводит в действие, необратимое подчинение одних людей другим, «сверхвласть», которая всегда сосредоточивается на одной стороне, неравенство положения различных «партнеров» относительно общего правила – все это отличает дисциплинарную связь от договорной связи и позволяет систематически искажать последнюю с того самого момента, когда ее содержанием становится дисциплинарный механизм. Например, известно, что многие действительные процедуры подрывают юридическую фикцию трудового договора: цеховая дисциплина – не самая маловажная.

Кроме того, если юридические системы квалифицируют субъектов права в соответствии со всеобщими нормами, то дисциплины характеризуют, классифицируют, специализируют; они распределяют по некоей шкале, ориентируются на некую норму, устанавливают иерархию индивидов, а если потребуется – дисквалифицируют и исключают. Как бы то ни было, в пространстве и времени, где дисциплины осуществляют контроль и вводят в игру асимметрии своей власти, они приостанавливают право, но всегда лишь временно, никогда не отменяя его полностью. Какой бы регулярной и институциональной ни была дисциплина, по своему механизму она является «контрправом». И хотя всеобщий юридический характер современного общества, казалось бы, устанавливает границы отправлению власти, его повсеместный паноптизм позволяет функционировать, на изнаночной стороне права, огромному и одновременно мельчайшему механизму, который поддерживает, усиливает, умножает асимметрию власти и делает бесполезными границы, очерчиваемые правом. Мельчайшие дисциплины, повседневные «паноптизмы» прекрасно устраиваются ниже уровня больших аппаратов и великих политических битв. Но в генеалогии современного общества они являются, как и пронизывающее его классовое господство, политической противоположностью юридическим нормам, в соответствии с которыми перераспределяется власть. Отсюда, несомненно, выясняется значение, издавна придаваемое малым дисциплинарным техникам, тем, казалось бы, ничтожным хитростям, что изобретает дисциплина, и даже знаниям, придающим ей респектабельный вид. Отсюда боязливое нежелание избавиться от них, когда их нечем заменить. Отсюда утверждение, что они действуют в самом основании общества, суть элемент его равновесия, тогда как на самом деле они – ряд механизмов для окончательного и повсеместного нарушения равновесия в отношениях власти. Отсюда упрямое изображение дисциплин как скромной, но конкретной формы всякой морали, тогда как на самом деле они представляют собой совокупность физико-политических техник.

Возвращаясь к проблеме законных наказаний, тюрьму со всей имеющейся в ее распоряжении исправительной технологией следует переместить в точку, где законосообразная власть наказывать превращается в дисциплинарную власть надзирать; где универсальные законные наказания применяются избирательно, к определенным индивидам, причем всегда к одним и тем же; где перекалывание правового субъекта посредством наказания становится полезной муштрой преступника; где право опрокидывается и выходит за собственные пределы, – где контрправо становится действенным и институциональным содержанием юридических форм. Следовательно, повсеместность власти наказывать обеспечивается не всеобщим осознанием закона – осознанием его каждым правовым субъектом, но ее равномерным распространением, этой бесконечно мелкой сетью паноптических техник.

Отдельно взятая, каждая из этих техник имеет долгую историю. Но новым в XVIII веке было то, что, соединяясь и распространяясь, они достигают уровня, на котором формирование знания и увеличение власти постоянно укрепляют друг друга в круговом процессе. Дисциплины переступают здесь «технологический» порог. Сначала больница, затем школа, а позднее и мастерская не просто «перестраиваются» дисциплинами; благодаря дисциплинам они становятся такими аппаратами, что всякий механизм объективации может использоваться в них как инструмент подчинения, а всякий рост власти может породить новые знания; именно эта связь, присущая технологическим системам, сделала возможным формирование в дисциплинарном элементе клинической медицины, психиатрии, детской психологии, педагогической психологии и рационализации труда. Стало быть, происходит двойной процесс: эпистемологическое «раскрытие» посредством совершенствования отношений власти; умножение последствий власти через формирование и накопление новых знаний.

Распространение дисциплинарных методов идет в русле широкого исторического процесса – развития примерно в то же время многих других технологий: агрономических, промышленных и экономических. Но надо признать, что по сравнению с угольной промышленностью зарождающимися химическими производствами или методами государственного учета, по сравнению с домнами и паровой машиной паноптизм не привлек к себе особого внимания. В нем видели не более чем странную маленькую утопию, зловещую мечту, – как если бы Бентам был Фурье полицейского общества, а фаланга приняла форму паноптикона. И все же паноптизм представлял собой абстрактную формулу совершенно реальной технологии, технологии производства индивидов. Имеется много причин тому, что она не снискала особых похвал. Самая очевидная из них – в том, что вызванные ею дискурсы редко обретали (если оставить в стороне академические классификации) статус наук. Но настоящая причина состоит, несомненно, в том, что власть, отправляемая и увеличиваемая посредством этой технологии, есть непосредственная, физическая власть людей друг над другом. Бесславное завершение, нехотя признаваемое происхождение. Но было бы несправедливо сравнивать дисциплинарные методы с такими изобретениями, как паровая машина или микроскоп Амичи[400]. Эти первые много меньше; и все же, некоторым образом, много больше. Если уж искать исторический эквивалент или по крайней мере нечто сопоставимое с дисциплинарными методами, то это, скорее, «инквизиторская» техника.

XVIII век изобрел техники дисциплины и экзамена, подобно тому как средневековье – судебное дознание. Но они пришли к этому совершенно разными путями. Процедура дознания (старый метод, применяемый при сборе налогов и в административных целях) получила особое развитие с реорганизацией Церкви и ростом числа княжеств в XII–XIII столетиях. Тогда она снискала весьма широкое распространение в судебной практике – сначала в церковной, а затем и в светской. Дознание как авторитарное разыскание достоверной или свидетельствуемой истины было, таким образом, противопоставлено старым процедурам присяги, клятвы, ордалии, судебного поединка, Божьего суда или даже соглашения между частными лицами. Дознание представляло собой власть суверена, присваивающего себе право устанавливать истину посредством ряда определенных

методов. И хотя с тех пор дознание стало неотъемлемым элементом западной юстиции (оставаясь таковым вплоть до наших дней), не надо забывать ни о его политическом происхождении, ни о его связи с возникновением государств и монархической власти, ни тем более о его последующем распространении и роли в формировании знания. Фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических наук; оно было юридическо-политической матрицей экспериментального знания, которое, как известно, стало очень быстро развиваться к концу средних веков. Пожалуй, правильно сказать, что математика родилась в Греции из техник измерения; естественные науки, до некоторой степени, возникли в конце средних веков из практики дознания. Великое эмпирическое знание, которое объяло вещи мира и включило их в порядок бесконечного дискурса, констатирующего, описывающего и устанавливающего «факты» (в тот момент, когда Запад начал экономическое и политическое завоевание того же мира), действовало, несомненно, по модели Инквизиции – великого изобретения, которое новая мягкость задвинула в темные уголки нашей памяти. Но тем, чем это юридическо-политическое, административное и уголовное, религиозное и светское дознание было для естественных наук, для наук о человеке стал дисциплинарный анализ. Технической матрицей этих наук, услаждающих нашу «гуманность» уже более столетия, является придирчивая, мелочная, злая кропотливость дисциплин и дознаний. Пожалуй, для психологии, педагогики, криминологии и многих других странных наук дисциплинарное дознание является тем же, чем ужасная власть дознания – для бесстрастного изучения животных, растений или Земли. Другая власть, другое знание. На пороге классического века Бэкон, законовед и государственный муж, пытался перенести в область эмпирических наук методы дознания. Какой Великий Надзиратель создаст методологию экзамена для гуманитарных наук? Если, конечно, это возможно. Ведь хотя справедливо, что, становясь техникой для эмпирических наук, дознание отделилось от инквизиторской процедуры (в которую уходили его исторические корни), экзамен сохранил чрезвычайно тесную связь с создавшей его дисциплинарной властью. Он всегда был и остается внутренним элементом дисциплин. Конечно, он вроде бы претерпел умозрительное очищение, органически соединившись с такими науками, как психиатрия и психология. И впрямь, обретение им формы тестов, собеседований, опросов и консультаций призвано, казалось бы, корректировать механизмы дисциплины: психология образования должна смягчать строгости школы, точно так же как медицинское или психиатрическое собеседование – исправлять последствия трудовой дисциплины. Но не следует заблуждаться: эти техники просто отсылают индивидов от одной дисциплинарной инстанции к другой и воспроизводят, в концентрированном или формализованном виде, схему «власть – знание», присущую всякой дисциплине[401]. Великое дознание, вызвавшее к жизни естественные науки, отделилось от своей политикоюридической модели. Экзамен по-прежнему остается в рамках дисциплинарной технологии.

В средние века процедура дознания постепенно навязала себя старому обвинительному правосудию в ходе процесса, исходившего сверху. Дисциплинарный метод, с другой стороны, вторгся в уголовное правосудие коварно и как бы снизу, и оно до сих пор остается в принципе инквизиторским. Все значительные расширения, характерные для современной карательной системы, – внимание к личности преступника, стоящей за совершённым преступлением, стремление сделать наказание исправлением, терапией, нормализацией, разделение акта судебного решения между различными инстанциями, которые должны

измерять, оценивать, диагностировать, лечить и преобразовывать индивидов, – свидетельствуют о проникновении дисциплинарного экзамена в эту судебную инквизицию.

Отныне карательному правосудию в качестве точки приложения, «полезного объекта» предлагается уже не тело преступника, противостоящее телу короля, и не правовой субъект идеального договора, а дисциплинарный индивид. Предел французского уголовного правосудия при монархическом режиме – бесконечное расчленение тела цареубийцы: проявление сильнейшей власти над телом величайшего преступника, чье полное уничтожение ярко высвечивает преступление во всей его истине. Идеальная точка нынешнего уголовного правосудия – бесконечная дисциплина. Бесконечный допрос. Дознание, не имеющее конца, – детализированный и все более расчленяющий надзор. Вынесение приговора, а одновременно – начало дела, которое никогда не будет закрыто. Отмеренная мягкость наказания, переплетающаяся с жестоким любопытством экзамена. Судебная процедура, предполагающая и постоянный замер отклонения от недостижимой нормы, и движение по асимптоте, бесконечно устремленное к норме. Публичная казнь логически завершает судебную процедуру, которую ведет Инквизиция. Установление «надзора» за индивидами является естественным продолжением правосудия, пропитанного дисциплинарными методами и экзаменационными процедурами. Удивительно ли, что многокамерная тюрьма с ее системой регулярной записи событий, принудительным трудом, с ее инстанциями надзора и оценки и специалистами по нормальности, которые принимают и множат функции судьи, стала современным инструментом наказания? Удивительно ли, что тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые похожи на тюрьмы?